С. Т. АКСАКОВ

# ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Свои воспоминания о Гоголе, написанные в 1854 г., С.Т.Аксаков не успел закончить и издать. Впервые полностью воспоминания были опубликованы только в советское время.

"История" состоит из двух частей. Первая часть ("История моего знакомства с Гоголем. 1832 - 1843 гг.") печатается по рукописи С.Т.Аксакова. Количество документов, составляющих вторую часть ("Записки и письма. 1843 - 1852 гг.") , значительно увеличено по сравнению с предыдущими изданиями.

Все приводимые в книге документы сверены с подлинниками. Тексты печатаются в современной орфографии.

Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.
М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)
Том 3. — 408 с. — с. 143–376.

- ВСТУПЛЕНИЕ
- ПРИМЕЧАНИЯ
- notes
  - Note1
  - Note2
  - Note3
  - Note4
  - Note5
  - Note6
  - Note7
  - Note8
  - Note9
  - Note10
  - Note11
  - Note12

# ВСТУПЛЕНИЕ

«История моего знакомства с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или по крайней мере для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давнопрошедшем. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству. Не знаю, принято ли кем-нибудь мое предложение, но я почти исполнил свое намерение. Очевидно, возникают вопросы: как можно печатать сочинение, писанное не для печати? Какая причина заставила меня изменить цели, с которою писана книга? Первый вопрос разрешается легко: из «Истории моего знакомства с Гоголем» исключено все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время. Причины же, почему я так поступил, состоят в следующем: четыре года прошли, как мы лишились Гоголя; кроме биографии и напечатанных в журналах многих статей, о нем продолжают писать и печатать; ошибочные мнения о Гоголе, как о человеке, вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них — даже сам биограф его — лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких сношениях. Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это не важно), а на человека. Мне кажется, что дружба моя к Гоголю и долг его памяти требуют от меня такого поступка. Записки мои потеряют не только большую половину своей занимательности, но и большую половину очевидности, то есть способности изъяснить предмет, о важности которого распространяться не нужно.

В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел, впрочем, «Диканьку» нечаянно: я

получил ее из книжкой лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был «Рудый Панько», познакомился с ним и привез нам известие, что «Диканьку» написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три не игравших сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов, М. М. Пинский и П. С. Щепкин — прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась, но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин, бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя, но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты, изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем.

К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как-нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит

своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему с искренними похвалами его «Диканьке», но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни (я не знал тогда, что он говорил об этом Константину) и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

> …даже глупости смешной
> В тебе не встретишь, свет пустой, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне, а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность

молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятьями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр. и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами… Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

«Ну что, — спросил я Загоскина, — как понравился тебе Гоголь?» — «Ах, какой милый, — закричал Загоскин, — милый, скромный, да какой, братец, умница!..» и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов.

В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он по-прежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его

рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение Гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, — не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед, но, кажется, он познакомился с Ольгой Семеновной и с Верой. В 1835 году мы жили на Сенном рынке, в доме Штюрмера. Гоголь между тем успел уже выдать «Миргород» и «Арабески». Великий талант его оказался в полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте.

В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым, дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы

радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал, или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает.

Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне было досадно, что гости мои так долго голодали, и в пять часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но, увы, ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно, и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся. Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина на самое короткое время и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

В 1835 году дошли до нас слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию «Ревизор», что в этой пиесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пиесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу и даже в ушах самого государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в Английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печатный экземпляр «Ревизора» и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать «Ревизора». Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать «Ревизора», и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете, даже m-lle Potot, жившая у нас с матерью. Я не мог в первый раз верно прочесть «Ревизора»; но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели. «Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями, а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь был хорошо знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными, наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих сочинений и сбирается немедленно уехать за границу. Это огорчило меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить «Ревизора», что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пиеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пиеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда такими делами не занимаются; а господа артисты назло ему, Щепкину, совсем уронят пиесу. Щепкин плакал от своего

затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтоб я взял на себя постановку пиесы, потому что актеры меня уважают и любят и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить пиесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что в сущности всем будет распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ был его первым письмом ко мне. Вот оно:

> «Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством; и еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем.
>
> Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня: я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину. Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.
>
> Еще раз принося вам чувствительнейшую благодарность, остаюсь навсегда
>
> Вашим покорнейшим слугою
> *Н. Гоголь.*
> *Мая 15, 1836»*

На конверте:
*Его высокородию **
*Милостивому государю*
*Сергею Тимофеевичу*
*Аксакову*
*от Гоголя.*[1]

Как это странно, что письмо такое простое, искреннее не

понравилось всем и даже мне.

Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтоб все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная, и, чтобы бросить на нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал для успокоения Шевырева и особенно Погодина: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!»

Вследствие письма Гоголя ко мне Щепкин писал к нему, что письмо к Загоскину отдано давно, о чем он его уведомлял; но, кажется, Гоголь не получал этого письма, потому что не отвечал на него и уехал немедленно за границу.

Итак, «Ревизор» был поставлен без моего участия. Впрочем, эта пиеса игралась и теперь играется в Москве довольно хорошо, кроме Хлестакова, роль которого труднее всех. Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли, что оттого пиеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор».[2]

В 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

В начале 1838 года распространились по Москве слухи, что Гоголь отчаянно болен в Италии и даже посажен за долги в тюрьму. Разумеется, последнее было совершенная ложь. Во всей Москве переписывался с ним один Погодин; он получил, наконец, письмо от Гоголя, уведомлявшее об его болезни и трудных денежных обстоятельствах. Это письмо было писано из Неаполя от 20 августа. Между прочим Гоголь писал в нем: «Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу». Мы решились ему помочь, но

под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и <Н. Ф.> Павлов сложились по двести пятьдесят рублей, и тысячу рублей предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе две тысячи рублей ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, потому что в одном своем письме Погодин очень неделикатно напоминает об них Гоголю, тогда как он дал честное слово нам, что Гоголь никогда не узнает о нашей складчине; но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный регистр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью; об этих же двух тысячах не упомянуто; этот регистр и теперь находится у Шевырева.

В 1838 году, кажется 8 июня, уехал Константин за границу, намереваясь долго прожить в чужих краях (он не мог прожить долее пяти месяцев). Перед возвращением своим в Россию он написал к Гоголю в Рим самое горячее письмо, убеждая его воротиться в Москву (Гоголь жил в Риме уже более двух лет) и назначая ему место съезда в Кельне, где Константин будет ждать его, чтоб ехать в обратный путь вместе. Гоголь еще не думал возвращаться, да и письмо получил двумя месяцами позднее, потому что куда-то уезжал из Рима. Письмо это, вероятно дышавшее горячей любовью, произвело, однако, глубокое впечатление на Гоголя, и хотя он не отвечал на него, но по возвращении в Россию, через год, говорил о нем с искренним чувством.

В 1839 году Погодин ездил за границу, имея намерение привезти с собою Гоголя. Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем, и хотя мы сначала надеялись, что они воротятся в Москву вместе, но потом уже потеряли эту надежду. Мы жили лето на даче в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. 29 сентября вдруг получаю я следующую записку от Михаила Семеновича Щепкина:

«Почтеннейший Сергей Тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один;

ожидания наши исполнились: с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал: такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем уже его не ожидали. Прощайте, сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его.

Ваш покорнейший слуга
*Михайло Щепкин*
*от 28-го сентября 1839 года».*

Я помещаю эту записку для того, чтоб показать, что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что всех перепугал, а с Машенькой сделалось даже дурно. Он уехал в Москву в тот же день, а я с семейством переехал 1 октября. Константин уже виделся с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково; говорил о письме, которое, очевидно, было для него приятно, и объяснял, почему он не мог приехать в назначенное Константином место, то есть в Кельн. Причина состояла в том, что он уезжал на то время из Рима, а воротясь, целый месяц не получал писем из России, хотя часто осведомлялся на почте; наконец, он решился пересмотреть сам все лежащие там письма и между ними нашел несколько адресованных к нему; в том числе находилось и письмо Константина. Бестолковый почтовый чиновник принимал Гоголя за кого-то другого и потому не отдавал до сих пор ему писем.

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

На другой день моего переезда в Москву, 2 октября, Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели

за столом, совсем его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время. Я был восхищен до глубины сердца и в то же время удивлен. Казалось, как бы могло пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу, и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья.

Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу «Мертвых душ», он хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступали к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные и даже неприятные ответы.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой сбирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Не зная хорошенько времени, когда должен был последовать выпуск воспитанниц из Патриотического института, Гоголь сначала торопился отъездом. Это видно из записки Погодина ко мне, в которой он пишет, что Гоголь просит меня справиться об этом выпуске; но торопиться было не к чему: выпуск последовал в декабре. Во всяком случае замедление отъезда происходило от нас. Я писал Гоголю 20 октября, что, «желая непременно ехать вместе с вами, любезнейший Николай Васильевич, я обращаюсь к вам с вопросом, можете ли вы отложить свой отъезд до вторника? Если не можете, мы едем в воскресенье поутру». На той же записке Гоголь отвечал:

> «Коли вам это непременно хочется и нужно и я могу сделать вам этим удовольствие, то готов отложить отъезд свой до вторника охотно».

Но и во вторник отъезд был отложен, и мы выехали в четверг после обеда 26 октября (1839 г.). Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем — я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пиеса теряла весь смысл (хотя в Москве он не видал «Ревизора» на сцене). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомить), служившему цензором в почтамте, назначал роль почтмейстера, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в

шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножко гастроном; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они

туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, верно, повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч. и проч.». В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец, припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону, а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, по-видимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать с

внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное.

Тридцатого октября в восемь часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских, Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановится: у Плетнева или у Жуковского. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны; в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать, Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал. На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось. Наконец, 3 ноября, я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть 4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, *дорожного* Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить с своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке. Вообще должно сказать, что, кроме Машеньки, никто не понимал и не ценил Гоголя как писателя. Гр. Ив. Карташевский даже и не читал его; но я надеялся, что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон Кихота», обожал Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались, что увидим впоследствии.

Пятого ноября, я еще не сходил сверху, потому что до половины второго просидел у меня Кавелин, только что успели прибежать ко мне Вера и Машенька, чтоб послушать «Арабески» Гоголя, которые я накануне купил для Машеньки, как вбежал сам Гоголь, до того замерзший, что даже жалко и смешно было смотреть на него (в то время стояла в Петербурге страшная стужа, до двадцати трех градусов при сильном ветре); но потом, посогревшись, был очень весел и забавен с обеими девицами. Сидел очень долго и просидел бы еще дольше, но пришел Ив. Ив. Панаев: это напомнило Гоголю, что ему пора идти. Несмотря на то, что Гоголь показался всем очень веселым, внутренне он был

чрезвычайно расстроен. 5-го же ноября он был у меня опять и открыл мне свое затруднительное положение. Он был обнадежен Жуковским, что сестры его получат вспоможение при выходе из института от щедрот государыни; но теперь никто не берется доложить ей о том, ибо по случаю нездоровья она не занимается делами и беспокоить ее докладами считают неприличным. Гоголь сказал, что насчет его уже начались сплетни и что он горит нетерпением поскорее отсюда уехать. Очень просил, чтоб я с Верой и с ним съездил к его сестрам, и поручил мне в каждом письме писать к моей жене и Константину по пяти поклонов. Я был взволнован его положением и предложил ему все, что тогда у меня было, разумеется безделицу; он сказал что-то весьма растроганным голосом и убежал. В тот же день я описал все подробно Ольге Семеновне, заметив, что, вероятно, Гоголю надобно много денег, что все это, как я надеюсь, поправится, а в противном случае — я поправлю.

Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел! О, Петербург, о, пошло деловой, всегда равно отвратительный Петербург! Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему.

В продолжение нескольких дней Гоголь еще надеялся на какие-то благоприятные обстоятельства; мы виделись с ним несколько раз, но на короткое время. Всякий раз условливались, когда ехать к его сестрам, и всякий раз что-нибудь мешало.

Наконец, 13 ноября обедал у нас Гоголь. Григорий Иванович, который успел прочесть кое-что из него и всю ночь хохотал от «Вия»… увы, также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть вполне любезным по-своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» — и указал на портрет Кирилловны, написанный Машенькой Карташевской. Я, разумеется, сейчас объяснил дело, и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен, сделанный

Верой, и чрезвычайно хвалил, особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком, чтоб усовершенствоваться. Оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое прекрасное существо Машенька Карташевская. После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве вообще: о музыке, живописи, о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо! Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Григорий Иванович, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии. Это меня сердечно огорчило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах ни проявлялось!»

Тринадцатого ноября этого года осталось для меня незабвенным днем на всю мою жизнь. После обеда, часов в семь, мы ушли с Гоголем наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукою и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое волнение и смущение… Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренно, что ему это было больно, неприятно, унизительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже какую-то робость этого гениального человека, — и я на минуту поколебался: говорить ли мне с ним об его положении? Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие: Жуковский уверил его через письмо еще в Москве, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института по крайней мере по тысяче рублей (что, впрочем, я уже отчасти знал). С этой верной надеждой он приехал в Петербург, но она не сбылась по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению сего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами да еще записками, для него очень важными. Об этом было публиковано в полицейской газете, но, разумеется, бумажник не нашелся именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довезти до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки… Что делать? К кому обратиться?

Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, то есть у Жуковского и Плетнева, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унизительным, бесчестным и даже бесполезным. Хотя я живо помню, но пересказать не умею, как вскипела моя душа. Прерывающимся от внутреннего чувства, но в то же время твердым голосом я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей; что ему будет грех, если он хотя на одну минуту усумнится; что не он будет должен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самою счастливою минутой моей жизни; что я имею право на это счастье по моей дружбе к нему; имею право даже на то, чтобы он взял эту помощь без малейшего смущения и не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку. — Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной ненадолго. Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки… Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, знал, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно. Он с любовью и радостью начал говорить о том, что у него уже готово в мыслях и что он сделает по возвращении в Москву; что, кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые души», у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта плеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу. Он говорил о моем семействе, которое вполне понимал и ценил; особенно о моем Константине, которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на

философское направление, влекло его призвание. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры; что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня. Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности, и я сейчас написал записку — и попросил на две недели две тысячи рублей[3] — к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется весьма односторонним, — откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. В тот же вечер я не вытерпел и нарушил обещание, добровольно данное Гоголю; я не мог скрыть моего восторженного состояния от Веры и друга ее Машеньки Карташевской, которую любил, как дочь (впрочем, они были единственным исключением). Обе мои девицы пришли в восхищение. 14 ноября Гоголь ко мне не приходил. 15-го я писал ему записку и звал за *нужным*. Гоголь не приходил. 16-го я поехал к нему сам, но не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру две тысячи рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!

В этот же день, 16 ноября, обедали у Карташевских два тайных советника: весьма известный и любимый прежде литератор Хмельницкий и другой, тоже литератор, мало известный, но не без дарования, Марков. Несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить! Я тогда же написал об них в письме к моей жене, что это были калибаны в понимании искусства, и это совершенная правда. Зная свою горячность, резкость и неумеренность в своих выражениях, я молил только бога, чтоб он дал мне терпение и положил хранение устам моим. Я ходил по зале с Верой и Машенькой, где, однако, были слышны все разговоры, и удивлялся вместе с ними крайнему тупоумию и

невежеству высшей петербургской публики как служебной, так и литературной. Брату Николаю Тимофеевичу было даже совестно за старинного его приятеля Хмельницкого, а Григорию Ивановичу — за Маркова. Наконец, терпение мое лопнуло; я подошел к ним и с убийственным выражением сказал: «Ваши превосходительства, сядемте-ка лучше в карты!»

Только что мы кончили игру, в которую я с злобным удовольствием обыграл всех трех тайных советников, как пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию! Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не приходил ко мне потому, что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого, На другой день мы назначили ехать с ним в Патриотический институт.

Должно упомянуть, что в это время вышли из печати вторые «Три повести» Павлова, что, сравнивая их с прежними, многие нападали на них, а Гоголь постоянно защищал, доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых.

Наконец, 17-го ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат, он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться задолго до отъезда. Меньшая, Лиза, веселая и живая, была любимицей брата. Может быть, и сам Гоголь этого не знал, но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, который жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бегал на квартиру для того, чтобы надеть фрак. Гоголь сказал нам, что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило

меня в большое затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена и отъезд мой мог быть отложен очень надолго. Я не вдруг решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы. Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать и чтоб он нас не дожидался. Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески. Он хотел на днях привести их к нам, чтоб познакомить с сестрой Надиной и ее дочерью. Гоголь опять читал повести Павлова, опять многое хвалил и говорил, что они имеют свое неотъемлемое достоинство.

Двадцать четвертого ноября Гоголь сидел у меня целое утро и сказал мне, между прочим, что здешние мерзости не так уже его оскорбляют, что он впадает в апатию и что ему скоро будет все равно, как бы о нем ни думали и как бы с ним ни поступали. Совестно было мне оставлять его долго в этом положении и отнимать у него время, которое, может быть, было бы творчески плодотворно в Москве. К тому же сестры его грустили по институту, и дальнейшее пребывание их у княгини Репниной было для него тягостно. Но что же было мне делать? Нельзя же мне было пожертвовать для этого существенно важными обстоятельствами для собственного моего семейства!

Двадцать шестого ноября давали «Ревизора». У нас было два бельэтажа, но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру. Сосницкий сначала был недурен; много было естественности и правды в его игре; слышно было, что Гоголь сам два раза читал ему «Ревизора», он перенял кое-что и еще не забыл; но как скоро

дошло до волнений духа, *до страсти*, говоря по-театральному, — Сосницкий сделался невыносимым ломакой, балаганным паясом.

На другой день поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. Я не могу умолчать, несмотря на все мое уважение к знаменитому писателю и еще большее уважение к его высоким нравственным достоинствам, что Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав «Мертвых душ». Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им такую выпуклость, такую жизнь, такое внутреннее значение, что каждый образ становился живым лицом, совершенно понятным и незабвенным для читателя, восхищались его юмором, комизмом — и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Впрочем, должно предположить по письмам и отзывам Жуковского, что он не понимал Гоголя вполне. Жуковский также много говорил со мной о Милькееве, принимая теплое участие в его судьбе. Он читал мне многие его письма, которые несравненно лучше его стихов, имеющих также достоинство, хотя одностороннее. Письма Милькеева очень меня разогрели, и я разделял надежды Жуковского, не оправдавшиеся впоследствии. Наконец, я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, — сказал Жуковский, — он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, *не зря, смотрел* на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел, и я, скрепя сердце, сказал Гоголю, что мы поедем из Петербурга после 6 декабря. Он был очень огорчен, но отвечал, что делать нечего и что он покоряется своей участи. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним

простился.

Двадцать девятого ноября, перед обедом, Гоголь привозил к нам своих сестер. Их разласкали донельзя, даже больная моя сестра встала с постели, чтоб принять их; но это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя. Они стали несравненно хуже, чем были в институте: в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя.

Мы условились с ним послезавтра в одно время приехать в Эрмитаж: мы с <В. И.> Панаевым, который доставил нам вечный билет для входа, а Гоголь с сестрами и с Балабиной. Гоголь предлагал Верочке и Машеньке осмотреть картины Жуковского, между которыми были очень замечательные, и также его чудесный альбом, стоивший, как говорили, тысяч сорок. Разумеется, это надо было сделать в отсутствие хозяина, что мои девицы находили не совсем удобным. В Эрмитаже мы были 1 декабря с Панаевым до двух часов, а потом с каким-то чичероне вплоть до сумерек. Уже в последних комнатах, перед самым выходом, встретили мы сестер Гоголя с старухой Балабиной и ее дочерью; но сам Гоголь не приезжал. Сестры его сказали нам, что они сейчас от Жуковского; они, вероятно, осматривали картины и знаменитый альбом.

Второго декабря был у нас Гоголь, и мы вновь опечалили его известием, что и после 6 декабря отъезд наш на несколько дней отлагается. 3 декабря я читал «Арабески» Григорию Ивановичу, Машеньке и Верочке. Я прочел «Жизнь», «Невский проспект», с некоторыми выпусками, и «Записки сумасшедшего». Григорий Иванович очень хвалил, а Машенька и Вера были в восхищении и тронуты до слез. До 6 декабря мы виделись с Гоголем один раз на короткое время. 6 декабря я ездил в Царское село, и надежда на помещение Миши в лицей разрушилась. Я решился поместить его или в экстерны Пажеского корпуса, или в Юнкерскую школу. 7 декабря я написал к Гоголю обо всем случившемся со мной и также о том, что теперь я сам не знаю, когда поеду, и чтоб он не ждал меня. Я получил ответ самый нежный и грустный.[4]

Гоголь обвинял в моей неудаче свою несчастную судьбу, не хотел без меня ехать и жалел только о том, что я огорчен. Жестокие морозы повергли его в уныние, и вдобавок он отморозил ухо. Он хотел приехать ко мне на другой день, но я намеревался предупредить его, потому что он очень легко одет. Гоголь не стал дожидаться следующего дня; он приехал ко мне в

тот же день после обеда, сильно расстроенный моею неудачей, и утешал меня, сколько мог, даже вызвался разведать об учителях Юнкерской школы. Он так страдал от стужи, что у нас сердце переболело, глядя на него.

До 11 декабря мы не видали Гоголя; морозы сделались сноснее, и он, узнав от меня, что я не могу ничего положительного сказать о своем отъезде, решался через неделю уехать один с сестрами. 13-го Гоголь был у нас, и так как мы решились через несколько дней непременно ехать, то, разумеется, условились ехать вместе. Федор Иванович Васьков также вызвался ехать с нами. 15-го Гоголь вторично привозил своих сестер; они стали гораздо развязнее, много говорили и были очень забавны. Они нетерпеливо желали уехать поскорее в Москву. Много раз уже назначался день нашего отъезда и много раз отменялся по самым неожиданным причинам, и Гоголь полагал, что именно ему что-то постороннее мешает выехать из Петербурга.

Наконец, дня через два (настоящего числа не знаю) выехали мы из Петербурга. Я взял два особых дилижанса: один четвероместный, называющийся фамильным, в котором сели Вера, две сестры Гоголя и я, другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Фед. Ив. Васьков. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я — на место к Васькову.

Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому, что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и, во-вторых, потому, что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно и дурно. К тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение. Надобно сказать правду, что бедной Верочке много было хлопот и забот, и я удивлялся ее терпению. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее. Они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не вовремя и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили

его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути, но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.

Он заговаривал с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался. На станциях, во время обедов и завтраков, чая и кофе, не слыхали мы ни одной шутки от Гоголя. Он и Вера постоянно были заняты около капризных *патриоток*, на которых угодить не было никакой возможности, которым все не нравилось, потому что не было похоже на их институт, и которые буквально почти ничего не ели, потому что кушанья были не так приготовлены, как у них в институте. Можно себе представить, что точно такая же история была в Петербурге у княгини Репниной! Каково было смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик.

Наконец, на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально, сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры.

Тут начались наши почти ежедневные свидания. 2 января Ольга Семеновна с Верой уехала в Курск. Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке: хозяин дрянной шубы, которую я надел вместо своей, видно еще не кончил своих дел и оставался почти уже в опустевшей зале Опекунского совета. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить. Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и черт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я

подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками. Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. В этот день бедный Константин должен был встать из-за стола и, не дообедавши, уехать, потому что он дал слово обедать у Горчаковых, да забыл. Особенно было это ему тяжело, потому что мы не переставали надеяться, что Гоголь что-нибудь нам прочтет; но это случилось еще не скоро. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто. На другой день получил я письмо от И. И. Панаева, в котором он от имени Одоевского, Плетнева, Врасского, Краевского и от себя умолял, чтоб Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину за пять тысяч (и новой комедии в том числе), особенно потому, что *новая комедия* будет напечатана в «Сыне отечества» или «Библиотеке для чтения», а Врасский предлагает шесть тысяч с правом напечатать новую комедию в «Отечественных записках». Я очень хорошо понял благородную причину, которая заставила Гоголя торопиться продажею своих сочинений, для чего он поручил все это дело Жуковскому; но о новой комедии мы не слыхали. Я немедленно поехал к Гоголю, и, разумеется, ни той, ни другой продажи не состоялось. Под *новой комедией*, вероятно, разумелись разные отрывки из недописанной Гоголем комедии, которую он хотел назвать «Владимир третьей степени». Я не могу утвердительно сказать, почему Гоголь не дописал этой комедии; может быть, он признал ее в полном составе неудобною в цензурном отношении, а может быть, был недоволен ею как взыскательный художник.

Через несколько дней, а именно в субботу, обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе были <Ю. Ф.> Самарин и Григорий Толстой, давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и сказал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя, графа Владимира Соллогуба. Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве

проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петербург и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб, как человек, мне не нравился, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно. В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал, но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на котором, разумеется, играть совершенно не умел, но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина, которые он писал около 20 января к Вере в Курск и к Мише в Петербург. Вот что он говорит в одном своем письме: «Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства! Недавно я написал письмо об этом к Мише, серьезное и важное, которое вылилось у меня из души».

В это время приехал Панов из деревни. Он вполне понимал и ценил Гоголя. Разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов привязался всею своею любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

Так шло время до возвращения Ольги Семеновны с Верой и с Сонечкой Самборской из Обояни. Они воротились, кажется, 2-го или 3 февраля, вероятно в субботу, потому что у нас обедал Гоголь и много гостей. Достоверно, что во время их отсутствия, продолжавшегося ровно месяц, Гоголь нам ничего не читал; но когда начал он читать нам «Мертвые души», то есть которого именно числа, письменных доказательств нет. Легко может быть, что он читал один или два раза по возвращении нашем из Петербурга, от 23 декабря до 2 января, потому что в письмах Веры к Машеньке Карташевской есть известие, от 14 февраля, что мы слушали уже итальянскую его повесть («Анунциату») и что 6

марта Гоголь прочел нам уже четвертую главу «Мертвых душ».

Восьмого марта, при многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, *как он объелся грибков*. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно так же читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 17 апреля, тоже в субботу, он прочел нам, перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Армфельд, приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и, чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ Гоголю и что он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой. Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, Марья Ивановна жила вместе с своими дочерьми также у Погодина.

В это пребывание свое в Москве Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage). Гоголь взял обещание с Веры, что она напишет ему масляными красками мой портрет, на что Вера согласилась с тем, чтобы он прислал нам свой, и он обещал.

Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, на все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы «Мертвых душ». Это был восторг упоения, полное счастье, которому завидовали

все, кому не удалось быть у нас во время чтения; потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых.

Приблизился день именин Гоголя, 9 мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя, но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

Последнюю неделю своего пребывания в Москве Гоголь был у нас всякий день и пять раз обедал, по большей части с своей матерью и сестрами. Отъезд Гоголя с Пановым был назначен на 17 мая.

Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. Играла m-lle Allan, приехавшая из Петербурга; после спектакля он хотел ехать; но, за большим разгоном, лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18 мая, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что

путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ», совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому, чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западного горизонта; сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Нетрудно было составить благоприятное толкование небесного знаменья. Каких блистательных надежд, каких великих созданий и какого полного торжества его славы мы не могли ожидать в будущем! Это явление произвело на нас с Константином, особенно на меня, такое сильное впечатление, что я во всю остальную жизнь Гоголя

никогда не смущался черными тучами, которые не только затемняли его путь, но даже грозили пресечь его существование, не дав ему кончить великого труда. До самого последнего страшного известия я был убежден, что Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему предназначенного.

Обращаюсь назад. По возвращении из Петербурга, прожив несколько времени вместе с матерью и сестрами в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры, *патриотки* (как их называют), которые по-ребячьи были очень несогласны между собой, не могут ехать вместе с матерью в деревню, потому что они будут постоянно огорчать мать своими ссорами. Итак, он решился пристроить как-нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была умнее, живее и более расположена к жизни в обществе. Приведение в исполнение этой мысли стоило много хлопот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень могла это сделать; у других знакомых поместить было невозможно. Наконец, через Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодетельную старушку, которая впоследствии любила Гоголя, как сына, поместил он сестру свою Лизу к г-же Раевской, женщине благочестивой, богатой, не имеющей своих детей, у которой жили и воспитывались какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы прежде.

Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого.

Во второй половине июня получил я первое письмо от Гоголя из Варшавы. Вот оно:

***«Варшава, 10 июня <1840>.***

> Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги. Но что я за вздор несу: грешно! Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли, или неприлично, и, верно, бы не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало

побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно — вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции, не было никакой задержки, словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, а через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева, и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова, то привезти и его. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их также. Михаил Семенович, которого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался, с своей стороны, достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше и Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.

Прощайте, мой бесценный друг. Обнимаю вас множество раз».

Поручения Константину привезть с собою книги и деловые бумаги показывают, что Гоголь вполне был уверен в скором приезде Константина в Италию. У нас точно было это намерение, хотя не так твердое и непреложное, как это казалось Гоголю.[5]

Впрочем, если б оно и было точно таково, то, конечно, не могло бы исполниться, потому что в 1840 году, 12 августа, умер

муж у сестры Надежды Тимофеевны, и мы с Верой прожили четыре месяца в Петербурге, а в 1841 году, 5 марта, мы потеряли Мишу. Потому разлучаться было не время. Деловые бумаги и разные акты, которых Гоголь добивался постоянно, вероятно, были ему нужны для того, чтоб поверить написанные им в «Мертвых душах» разные судебные сделки Чичикова, которые так и остались неверными с действительностью.

Вскоре по получении этого первого письма я уехал с Гришей за Волгу в свои деревни, и об этом-то отъезде спрашивает меня Гоголь. Вот мое письмо к Гоголю.

> «Да, мой милый, мой бесценный друг, Николай Васильевич! Между друзьями нет разлуки! Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства! Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нов. ст. обрадовало все наше семейство. Меня не было дома, когда его получили; зато слова *письмо от Гоголя* радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это *душевное побуждение*, которое заставило вас написать его… По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас, куда писать к вам? Мне так это досадно! Мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе… Но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки… Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится… Но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии. Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно. Все обнимаем вас, а Константин особенно и так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостью. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова, начинает привыкать к новому своему житью-бытью и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Она гостит у нас другой день: вчера было воскресенье, а сегодня Раевской нет дома. Лиза сама пишет. Погодин, верно, написал вам, что у него родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром и что я крестил его с Лизаветой Григорьевной Чертковой. Это мне было очень приятно, потому что она ваша добрая приятельница.

Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу. Кажется, мы проведем лето в Москве: к этому есть много побудительных причин и не весьма приятных. Не такой год, чтоб расставаться. Я прочел Лермонтова «Героя нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца. Письмо мое написано очень беспорядочно… Нужды нет, не хочу пропустить почты. Михаил Семенович очень было прихворнул, но теперь выезжает и поправляется. Пожалейте: он на строжайшей диете… Он обнимает вас и обещает достать много *записок из дел*, к которым я присоединю свои. Все это привезет вам Константин, если не встретится оказии прежде».

Из этого письма очевидно, что мы действительно имели твердое намерение послать Константина в Италию к Гоголю. Оно, вероятно, писано вскоре по получении письма от Гоголя.

Почти через месяц получил я от Гоголя второе письмо, уже из Вены.

***«Вена. 7 июля 1840 года.***

Я получил третьего дни письмо ваше, друг души моей Сергей Тимофеевич! Оно ко мне дошло очень исправно и дойдет, без сомнения, и другое так же исправно, если только вам придет желание написать его, потому что я в Вене еще надеюсь пробыть месяца полтора, попить воды и отдохнуть. Здесь покойнее, чем на водах, куда съезжается слишком скучный для меня свет. Тут все ближе, под рукой, и свобода во всем. Нужно знать, что последняя давно убежала из деревень и маленьких городов Европы, где существуют воды и съезды. Парадно — мочи нет! К тому же у меня такая скверная натура, что при взгляде на эту толпу, приехавшую со всех сторон лечиться, — уже несколько тошнит, а на водах это не идет: нужно, напротив, чтобы слабило. Как вспомню Мариенбад и лица, из которых каждое насильно и нахально влезло в память, попадаясь раз по сорока на день, и несносных русских с вечным и непреложным вопросом: «А который стакан вы пьете?» — вопрос, от которого я улепетывал по проселочным дорожкам… Этот вопрос мне показался на ту пору родным братцем другого известного вопроса: «Чем вы подарите нас новеньким?» Ибо всякое слово, само по

себе невинное, но повторенное двадцать раз, делается пошлее добродетельного Цинского или романов Булгарина, что все одно и то же… Я замечаю, что я, кажется, не кончил периода. Но вон его! Был ли когда-нибудь какой толк в периодах? Я только вижу и слышу толк в чувствах и душе. Итак, я на водах в Вене: и дешевле, и покойнее, и веселее. Я здесь один; меня не смущает никто. На немцев я гляжу как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают; а если который из них взлезет мне на нос, то щелчок — и был таков!

Я совершенно покоен после вашего письма. Первое и главное — вы здоровы. Но мне жаль, если вы проведете лето в Москве. Перемена необходимо нужна вам, как и всякому человеку, проведшему зиму в Москве. Мне жаль, если у вас не будет дачи, пруда с рыбами, леса и дорог, которые бы заманили ходить.

Ради бога сделайте так, чтобы ваше лето не было похоже на зиму. Иначе это значит — гневить бога и выпускать на него эпиграммы.

Вена приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опера — чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! я оживу еще.

Обнимаю от души Константина Сергеевича, хотя, без сомнения, не так крепко, как он меня (но это не без выгоды: бокам несколько легче), и, между прочим, прошу его к заданным от меня комиссиям прибавить еще несколько, а именно: спросить у Погодина, не нашелся ли мой Шекспир, второй том, который взять ему с собою и прибавить к этому оба издания песней Максимовича, а может быть, и третье, коли вышло, а главное — купить или поручить Михаилу Семеновичу купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, то есть одни передки (они так уж вырезанные находятся, места не занимают и удобны к взятию); пары две или три. Случилась беда: все сапоги, сделанные мне Таке, оказались короткими. Упрямый немец! Я толковал ему, что будут коротки, — не хотел, сапожная колодка, согласиться! и широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо бы было, если бы мне были доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно.

Товарищ мой немного было прихворнул, но теперь здоров, заглядывается на Вену и с грустью собирается ее оставить послезавтра для дальнейшего пути. Он теперь сидит за письмом к вам.

Целую ручки Ольги Семеновны и посылаю мое душевное объятие всему вашему семейству. Прощайте, мой друг! Будьте здоровы и берегите свое здоровье!»

К этому письму не нужно прибавлять никаких объяснений. Но следует заметить, что здесь продолжается в душе Гоголя то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы. Его же увидим мы и в следующем письме в Москву к Ольге Семеновне, ибо я известил Гоголя, что уезжаю с Константином за Волгу, куда я и уехал, кажется, 27 июня. Из этого письма также видно, какое значение имели для Гоголя все искусства и как благодетельно было их влияние на его душу. О сильном стремлении его к живописи я уже имел случай говорить; но здесь видно, как действовала на него музыка и как дороги были ему родные малороссийские песни. Даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он Константина привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно это мнение, что будто Гоголь только в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной родине и к ее прелестным песням. Вот его письмо к Ольге Семеновне из Венеции.

***«Венеция, <?> августа 10 <1840. Вена.>***

Так как Сергея Тимофеевича теперь, вероятно, нет в Москве, Константин Сергеевич, без сомнения, тоже с ним, то решаюсь, Ольга Семеновна, осадить вас моими двумя усерднейшими просьбами. Но прежде чем просьбы, позвольте поблагодарить вас, вы знаете за что: за все. Позвольте поблагодарить также вас и все ваше семейство за память обо мне. Впрочем, в последнем случае благодарить мне незачем, потому что здесь плата тою же монетою с моей стороны, что вам, без сомнения, известно. А просьбы мои следующие. Отправьте прилагаемое при сем письмо к Лизе и вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии. Еще одна просьба, о которой напоминать мне немножко бессовестно, но нечего делать. Просьба эта относится прямо к Вере Сергеевне, а в чем она заключается — это ей известно. Исполнению ее, конечно, теперь мешает отъезд Сергея Тимофеевича. Но по приезде… Вера Сергеевна простила меня за мой

докучливый характер. Прощайте. Веселитесь веселее, сколь можно, и отведайте лета более, сколько можно. Я вас вижу очень живо и также вижу всех вас, все ваше семейство.

К Сергею Тимофеевичу я буду писать из Рима, не знаю только, куда адресовать. Впрочем, отправите вы.

Целую ваши ручки».

Первое действие комедии, о которой пишет Гоголь, принадлежит к той самой пиесе, которую Щепкин, под названием «Дядька в хлопотах», давал себе в бенефис в прошедшую зиму, через год после кончины Гоголя. Просьба к Верочке относится до моего портрета, который она обещала написать для Гоголя, исполнению которой, без сомнения, мешало мое отсутствие. Я воротился из-за Волги в исходе августа. Меня ожидало уже печальное известие, что Гр. Ив. Карташевского нет на свете. Через сутки мы уже уехали с Верой в Петербург. Писем от Гоголя долго не было. Наконец, пришло известие, что он был отчаянно болен, и вот письмо, которое я получил от него уже в январе 1841 года.

***«28 декабря 1840 года. Рим.***

Я много перед вами виноват, друг души моей Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчило. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату; лгать мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни! Вы в вашем письме сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе! Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места, о котором, помните, мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворять своей страсти, то есть любви к самому

себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хотя, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость: ибо ему — что весьма естественно — хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним! Я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой, — мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое переработываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето — это я уже испытал — мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать? Признаюсь — у меня не было средств тогда предпринять путешествие; у меня слишком было все рассчитано. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня… Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения даже не понимал вначале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и

спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете! Что я разумею, вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какое это приобретение. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога. Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне, — я чувствую в этом что-то такое сладкое.

Но довольно; сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова. Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием — и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к «Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале.

Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился. Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле. Но почему — может увлечь в длинные рассуждения. Покамест прощайте…»

Письмо это написано уже совсем в другом тоне, чем все предыдущие. Этот тон сохранился уже навсегда. Должно поверить, что *много чудного* совершилось с Гоголем, потому что он с этих пор изменился в нравственном существе своем. Это не значит, что он сделался другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нем, даже в самых молодых годах; но она скрывалась, так сказать, наружностью внешнего человека. Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесною оболочкою человека. Я не спрашивал Гоголя в

подробности, что с ним случилось: частью из деликатности, не желая насиловать его природной скрытности, а частью потому, что боялся дотрогиваться до таких предметов и явлений, которым я не верил и теперь не верю, считая их порождением болезненного состояния духа и тела. Но я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину, который случился на то время в Риме. Что касается до места, которое мы все желали доставить Гоголю, то оно, кажется, вовсе не состоялось. Кривцов был назначен в Риме вроде какого-то попечителя и официального ходатая всех русских художников, там живущих. Гоголь хотел быть его помощником, которому предполагали определить жалованья с лишком две тысячи рублей ассигнациями; получив такое место, Гоголь был бы обеспечен в своем существовании. Что же собственно разумел Гоголь под словами: «к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами», то это обстоятельство осталось для меня неизвестным. Слова самого Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот; что только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет»; что впоследствии, мало-помалу, составилось это колоссальное создание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни; что впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов, необходимость — примирения… Возможно ли было исполнение такой задачи и мог ли ее исполнить Гоголь — это вопрос другой, к которому я обращусь в конце этих записок. В словах Гоголя, что он слышит в себе *сильное чувства к России*, заключается, очевидно, указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение. Единственно в этом письме, в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого письма он по большей части подшучивал над русским человеком. Есть еще доказательства этого русского движения, образовавшегося в Москве именно в 1840 году: в первом томе «Мертвых душ» многие места в этом духе очевидно вставлены и

даже не совсем гармонируют с прежними речами. Под словами «и то, что *я приобрел в теперешний приезд мой в Москву*» Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством; а под словами *юноша, полный всякой благодати*, — Константина.

Я не получал писем от Гоголя около двух месяцев. Прилагаемое письмо от 5 марта 1841 года получено мною уже тогда, когда богу было угодно поразить нас ужасным и неожиданным ударом; именно 5 марта потеряли мы сына, полного крепости телесных сил и всяких блистательных надежд; а потому все поручения Гоголя передал я к исполнению Погодину.

***«Марта 5 <1841> Рим.***

Мне грустно так долго не получать от вас вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват: может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку — как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу! Но вот вам, наконец, эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что собственно могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые, выключенные из пиесы, сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате, а впрочем, как найдете лучшим.

Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже говорил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею: и мой приезд в Москву и мое нынешнее путешествие в Рим — все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что буду к вам, ни о том, что я тружусь — словом, ничего. Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич; им же нужно — Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться. А милее душе моей этих двух, которые могли бы за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой

глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего ответа, чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас, до свиданья! Как прекрасно это слово!

Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеевну, Ольгу Сергеевну — всех! всех! Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини, это будет вернее, чем Poste restante. [6] Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini».

Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к России; слова «к русской груди моей» это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, по возвращении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме в великость своего труда как в благую, свыше назначенную цель всей своей жизни! Поехать к Гоголю, так сказать навстречу, чтоб привезть его в Москву, никто не мог: Константину невозможно было разлучиться с нами в это печальное время. Щепкин не имел никаких средств ехать, да и получить заграничный отпуск было бы для него очень затруднительно. Что же касается до займа денег для Гоголя и вообще до его письма об этом предмете, то его не вдруг показали мне, потому что мне было не до того. Общее это письмо было написано ко мне, к Погодину и Шевыреву.

Второе и последнее письмо ко мне в этом году от Гоголя из Рима не имеет числа; но по содержанию его можно догадаться, что оно написано довольно скоро после письма от 5 марта, когда Гоголь еще не знал о нашем несчастье. Вот оно:

«Едва только я успел отправить письмо мое к вам с приложеньями к «Ревизору», как получил вслед за тем ваше. Оно было для меня тем приятнее, что мне казалось уже, будто я от вас бог знает когда не получал вести. Целую вас несколько раз в задаток поцелуев личных. «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени? Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо, и вообще торговля не движется. Отпечатать можно теперь, а выпуском повременить до осени. По крайней мере так говорит благоразумие и опытность.

Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи! Но так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над переправкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели, ибо теперь для меня всякая малая вещь почти такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда; ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, — преступную свою жертву. Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного; и для презренного ли журнального, пошлого занятья ежедневным дрязгом я должен совершать непрощаемые преступления? И что поможет журналу моя статья? Но статья будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилит мое болезненное расположение. Но я думаю, нет. Бог милостив… Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же так теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому и Погодину скажите, чтоб он также не говорил; если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще. Ничего также не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего.

Вы, может быть, дивитесь, что я вызываю Константина Сергеевича и Михаила Семеновича, но я делал это в том предположении, что Константину Сергеевичу нужно было и без того ехать, а Михаил Семенович тоже хотел ехать к водам, что ему принесло

бы значительную пользу. Я бы их ожидал хоть в самом первом за нашею границею немецком городке. Вы знаете этому причины из письма моего, которое вы уже получили. Насчет денег нужно будет распорядиться скорее.

В мае месяце я полагаю выехать из Рима, месяцы жаркие провесть где-нибудь в холодных углах Европы — может быть, в Швейцарии, и к началу сентября в Москву — обнять и прижать вас сильно…

Прощайте, жду с нетерпением ваших писем. Обнимаю крепко все ваше семейство».

Желание Гоголя не исполнилось. «Ревизор» был напечатан Погодиным со всеми приложениями, которые предварительно были помещены в «Москвитянине», что, разумеется, было Гоголю неприятно. Хотя я был тогда в таком положении, что не могу обвинять строго себя, но я должен признаться, что финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь, и что вообще я не умел понимать во всей полноте страдальческого положения Гоголя. Очевидным доказательством тому служит мое письмо к Гоголю, в котором я просил, чтоб он прислал что-нибудь в журнал Погодину.

Теперь для меня это очень прискорбно, но прошедшего не воротишь. Я особенно должен обвинять себя потому, что только моя просьба (как мне кажется) могла заставить Гоголя оторваться от своего святого труда, пожертвовать своею чудною итальянскою повестью «Анунциата», которой начало он нам читал, и сделать из нее отдельную статью под названием «Рим», которая впоследствии была напечатана в «Москвитянине». Впрочем, у Гоголя недостало сил исполнить свое обещание так скоро; он точно оставил было «Мертвые души» и принялся за переделку «Анунциаты». Но он был так занят, так погружен в мир своей поэмы, что работа не спорилась и сделалась для него невыносимою. Он бросил ее и докончил уже в Москве.

Между тем Гоголь получил известие о нашем несчастье. Не помню, писал ли я сам к нему об этом, но знаю, что он написал ко мне утешительное письмо, которое до меня не дошло и осталось для меня неизвестным. Письмо было послано через Погодина; вероятно, оно заключало в себе такого рода утешения, до которых я был большой неохотник и мог скорее рассердиться за них, чем утешиться ими. Погодин знал это очень хорошо и не отдал письма, а впоследствии или затерял, или обманул меня, сказав, что письма не нашел.

Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали,

а потому внезапное появление его у нас в доме 18 октября произвело такой же радостный шум, как в 39-м году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву: крик Константина точно так же всех напугал.

В этот год последовала сильная перемена в Гоголе не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен, и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове; гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогелъ*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «Нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтоб избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: «Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?» и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен с своим прежним дорожным соседом.

Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от

нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Я доставил было Гоголю отличного переписчика, бывшего при мне воспитанником в Межевом институте, Крузе; но не знаю, или лучше сказать, не помню, почему Гоголь взял другого переписчика. Прилагаемая записка служит тому доказательством.

> «Я к вам приходил, между прочим, с просьбою, которую совершенно позабыл. А именно, нельзя ли послать к Крузе взять у него десть или две чистой бумаги, которая ему теперь не нужна, а будет нужна моему переписчику. Из-за нее остановилось дело.
>
> *Гоголь».*

Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого роду замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. Итак, я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души… Но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете…», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.

Я говорил Гоголю после, что, слушая «Мертвые души» в первый раз, да хоть бы и не в первый, и увлекаясь красотами его художественного создания, никакой в свете критик, если только он способен принимать поэтические впечатления, не в состоянии будет замечать какие-нибудь недостатки; что если он хочет моих замечаний, то пусть даст мне чисто переписанную рукопись в руки, чтоб я на свободе прочел ее и, может быть, не один раз; тогда дело другое. Но Гоголь не хотел и не мог этого сделать:

рукопись поспешно переписывалась и немедленно была отослана в цензуру в Петербург. Тут случилось что-то такое, чего я и теперь объяснить не умею. Гоголь хотел послать первый том «Мертвых душ» в Петербург к Жуковскому или к графу Вьельгорскому для того, чтоб найти возможность представить его прямо к государю: ибо все мы думали, что обыкновенная цензура его не пропустит. Вдруг Гоголь переменил свое намерение и послал рукопись в Петербург прямо к цензору Никитенко и, кажется, послал с Белинским, по крайней мере не сказал нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас, потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению.

В это время, то есть в конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным, а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природного скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, то есть что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что,

вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «Разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все, уже приведенные мною письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от природы или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатности, разборчивости, нежности, не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай». Я сказал, что были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя: именно, в течение первых четырех месяцев 1842 года было два таких случая. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Дмитрий Максимович Княжевич; он был прекраснейший человек во всех отношениях: умный, образованный, живой, добрый, любящий и одаренный сильным эстетическим чувством. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в

которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз — будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться, на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже заставить Гоголя объясниться с Княжевичем, но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастье быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович!..» — протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом… Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом, в чем раскаиваюсь теперь.

Таких недоразумений, оставшихся без объяснений, было много, и, вероятно, они были причиной тому, что Гоголь никогда не бывал со мною вполне откровенен. Другое происшествие состояло в следующем (домашние мои утверждают, что оно случилось в 1840 году, но это все равно). Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по

Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не дослушав пиесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий, потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии.

Гоголь продолжал бывать у нас очень часто, почти всякий день, и охотно слушал рассказы Константина о том, как он

держал себя и действовал в так называемом большом свете, который он начал посещать тогда и в котором искали его знакомства. Константин увлекался мыслью, что истины, которые он проповедовал там, согласно с своим задушевным и глубоким убеждением, произведут благотворное действие. Он ошибался. Свет с любопытством и удовольствием слушал его, как диковинное явление, и только. Это сделалось модою. Правда, некоторые полюбили его за теплоту убеждений, но самые убеждения считали прекрасными мечтами. Гоголь хорошо понимал настоящее значение этого явления и очень им забавлялся.

Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Он <Гоголь> дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была напечатана в 3-м № «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицина (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.

Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить прийти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них, именно Кошелева, желала особенно познакомиться с Гоголем, а потому Вера и Константин так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из «Московских ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уже нельзя было не войти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».

Еще в январе 1842 года дошли до нас слухи, что первый том «Мертвых душ» в рукописи ходит по рукам в Петербурге. Гоголь не знал, что и делать. Он писал туда к своим приятелям, даже

хотел сам ехать на выручку его; но, наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена. Я не могу утвердительно сказать, дознались ли мы тогда настоящим образом, где и по чьей милости прогуливался целый месяц первый том «Мертвых душ». У нас оставалось подозрение, что тот господин, которому поручено было его отправить на почту, или почтамтский чиновник, принявший посылку, вздумали наперед прочесть любопытную новость и дать почитать своим приятелям; дело только в том, что рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц. Я уверен, что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю. Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слова, но Гоголь не видел в этом ничего необыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. Вначале напечатаны две тысячи пятьсот экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем. Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание продолжалось два месяца. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстроивался духом и даже телом; он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что случилось это наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. Вдруг дошли до Константина слухи стороной, что Гоголь сбирается уехать за границу и очень скоро. Он не поверил и спросил сам Гоголя, который сначала отвечал неопределенно: «Может быть», но потом сказал решительно, что он едет, что он не может долее оставаться, потому что не может писать и потому что такое положение разрушает его здоровье. Константин был очень огорчен и с горячностью убеждал Гоголя не ездить, а испытать все средства, чтоб приучить себя писать в Москве. Гоголь отвечал ему, что он именно то и делает и проживет в Москве донельзя. Вера, при которой происходил этот разговор, сказала Гоголю, что никак не должно доводить донельзя, а лучше уехать немедленно. Я с огорчением и неудовольствием узнал об этом. Все делалось как-то неясно, неоткровенно, непонятно для меня, и моя дружба к Гоголю тем оскорблялась. Теперь я вижу, что в этом виноват был я более всех, что я невнимательно смотрел на положение Гоголя, легкомысленно осуждал его, недостаточно показывал к нему участия, а потому и не пользовался его полной откровенностью. У меня всегда было правило — не навязываться с своим участием, не домогаться ничьей откровенности. Такое правило решительно иногда бывает

ложно, а с Гоголем более ложно, чем с кем-нибудь. Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях. Если б я с любовью и горячностью приставал к Гоголю с расспросами, если б я заставлял его быть с собою откровенным с самого приезда в Москву, то, вероятно, я мог бы не допустить до огромного размера его неудовольствий с Погодиным, и тогда, может быть, Гоголь не уехал бы из России, по крайней мере так скоро. Через несколько дней, перед вечером, уезжал я в клуб, и все меня провожали до передней. Вдруг входит Гоголь с образом спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню». Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его образом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить Гоголя образом, но Гоголь давно желал, чтоб его благословила Ольга Семеновна, а прямо сказать не хотел. Он все ожидал, что она почувствует к этому влечение, и даже сам подговаривался; но Ольга Семеновна не догадывалась, да и как было догадаться? Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам. Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе как в художнике, — и я уехал в клуб. Без меня было много разговоров об этом предмете, и особенно Вера приставала к Гоголю со многими вопросами, которые, как мне кажется, не совсем были ему приятны. Например, на вопрос: «С каким намерением он приезжал в Россию — с тем ли, чтобы остаться в ней навсегда, или с тем, чтоб так скоро уехать?» — Гоголь отвечал: «С тем, чтоб проститься». Всем известно, что и письменно и словесно Гоголь высказывал совсем другое намерение. На вопрос, надолго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что уезжает на два года, потом, что на десять и, наконец, что он едет на пять лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Через несколько времени он ушел,[7] оставя образ у нас, и взял его уже на другой день.

В первых числах мая приехала мать. Гоголя с его сестрой Анютой, чтоб взять с собой Лизу, которая целый год жила у Раевской, и чтоб проститься с сыном, который, вероятно, уведомил ее, что уезжает надолго. Она остановилась также у

Погодина. 1 мая вот что случилось. Гоголь у нас обедал, после обеда часа два сидел у меня в кабинете и занимался поправкою корректур, в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз. Корректур было огромный сверток. Гоголь не успел их кончить, потому что условился ехать вместе с Шевыревым на гулянье, а Константин уехал ранее с Боборыкиным. В шесть часов мы дали Гоголю лошадь, и он отправился к Шевыреву, поручив мне спрятать и запереть корректуры так, чтобы их никто не видал. Зная, что Гоголь должен воротиться очень поздно и что в этот вечер никто нам не помешает, мы расположились в моем кабинете, и я начал читать вслух именно те главы «Мертвых душ», которых мое семейство еще не знало. Только что мы расчитались, как вдруг Гоголь въехал на двор… Сделалась страшная суматоха, и мы едва успели скрыть наше преступление. Мы переконфузились не на шутку, потому что очень боялись рассердить или, лучше сказать, огорчить Гоголя; по счастью, он ничего не заметил. Он приехал в большой досаде на Шевырева, который не подождал его пяти минут и уехал один, ровно в шесть часов. Поболтав кой о чем с нами и продолжая жаловаться на немецкую аккуратность Шевырева, Гоголь хотел было уже опять засесть за свои корректуры, как вдруг приехала карета четверкой в ряд, которую из Сокольников прислала Кат. Алекс. Свербеева и приказала убедительно просить Гоголя к ним в палатку. Она узнала от Шевырева, что он не подождал Гоголя и что Гоголь у нас. Гоголю не очень хотелось ехать, ему казалось уже поздно, но мы его уговорили, и он уехал.

Перед своими именинами, по случаю прекрасной погоды, еще до приезда матери, Гоголь пригласил к себе в сад некоторых дам и особенно просил, чтоб приехала Ольга Семеновна с Верой. В шесть часов вечера Ольга Семеновна с Верой и Лизой отправились к Гоголю. Он встретил их на террасе и изъявил сожаление, «что они не приехали раньше, что так было хорошо, а теперь уже солнце садится». Они сошли в сад и гуляли вместе. Вскоре приехали Катер. Алекс. Свербеева и Авд. Петр. Елагина. Гоголь был очень смешон в роли хозяина, и даже жалко было на него смотреть, как он употреблял всевозможные усилия, чтоб занимать приехавших дам. Ольга Семеновна, Авдотья Петровна и жена Погодина сели в саду у чайного стола, а Гоголь с Кат. Алекс. и за ними Лиза с Верой пошли гулять. Гоголь употреблял все усилия, чтоб занимать свою спутницу, которую можно было занимать только светской болтовней, как он думал. Две девушки шли за ними и посмеивались. Истощив, наконец, как видно, весь свой запас, Гоголь прибегал, например, к следующим разговорам:

«Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел», и тому подобным в этом роде. Все было вяло, принужденно и некстати; но спутница его считала долгом находить все очень любезным и забавным и очень привлекательно улыбалась. Я слышал потом, как дамы говорили, что Гоголь был чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец, пошли пить чай; сделалось холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал как умел. После чаю воротились в комнату; тут Гоголь, для той же цели, принялся рассказывать всякий вздор и пустяки об водяном лечении Присница, чему дамы очень смеялись, хотя, правду сказать, тут ничего не было смешного, потому что слышалось тяжелое принуждение, которое делал себе Гоголь. Ольга Семеновна и Вера не могли не заметить, что он был очень доволен, когда уехали Елагина и Свербеева. Проводя их, он сел в угол дивана, как человек, исполнивший свой долг и довольный, что может отдохнуть. Тут он был совершенно свободен, расспрашивал их про недавно бывший вечер у Хомякова, именно о том, что там делалось после его ухода, про Одоевского, про Боборыкина, которые всегда его забавляли. Наконец, когда сделалось уже совершенно темно, Ольга Семеновна и Вера уехали.

Девятого мая сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840 году. Погода стояла прекрасная; я был здоров, а потому присутствовал вместе со всеми на этом обеде. На нем были профессора Григорьев (проездом случившийся в Москве), Армфельд, Редкин и Грановский. Был Ст. Вас. Перфильев (особенный почитатель Гоголя), Свербеев, Хомяков, Киреевский, Елагины, Нащокин (известный друг Пушкина, любивший в нем не поэта, а человека, чем очень дорожил Пушкин), Загоскин, Н. Ф. Павлов, Ю. Самарин, Константин, Гриша и многие другие из общих наших знакомых. Обед был шумный и веселый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и даже не говорили, чего, впрочем, нельзя было заметить в такой толпе. Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и когда голубоватое пламя горящего рома и шампанского обхватило и растопляло куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф, который должен привесть в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая *после обеда* показалась всем очень забавною и возбудила громкий смех. Не помню, тут ли был Перфильев.

Печатанье «Мертвых душ» приходило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые ему

нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были получены 21 мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику, а другой нам с надписью: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». У нас было довольно гостей, и все обедали в саду. Были Погодин и Шевырев. Это был в то же время прощальный обед с Гоголем. Здесь он в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но приехать для его напечатанья уже не обещал. Семейство Гоголя бывало у нас очень часто, почти всякий день. Мать его также собиралась ехать и брала с собой вторую свою дочь Лизу, которая во время пребывания своего у Раевской много переменилась к лучшему, чем Гоголь был очень доволен. Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной почтенной старушкой, Над. Ник. Шереметевой, которая за год перед сим, еще не зная Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним и почти совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила, несколько раз сама приезжала к нему, чтоб беседовать с ним наедине, и, наконец, непременно захотела его проводить. Гоголь, взявши место в дилижансе на 23 мая, сказал, что он едет из нашего дома, и пригласил ее без всяких церемоний прямо приехать к нам. Шереметева, побывав поутру у Гоголя, подарив ему шнурок своей работы и отдав прощальное письмо, приехала к нам 23 мая в субботу, чтоб еще проститься с Гоголем. Через четверть часа нельзя было узнать, что мы не были целый век дружески знакомы с этой почтенной и достойной женщиной. Когда началось прощанье, она простилась с Гоголем прежде всех и уехала, чтоб не мешать Гоголю проститься с матерью и сестрами. Простившись со всеми, Гоголь, выходя из залы, обернулся и перекрестил всех нас. Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и поехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, в котором Гоголь отправлялся в Петербург. Подъехав к Тверской заставе, я как-то выглянул из коляски и увидел, что Над. Ник. Шереметева едет за нами в своих дрожках. Мы остановились, Гоголь вышел и простился с ней очень нежно, а она благословила и перекрестила его, как сына. У самого шлагбаума подбежал к нам солдат и спросил: кто мы и куда

едем? Константин, неспособный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать: что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу; но Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву. Я засмеялся, Константин несколько сконфузился, а Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость*, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если б он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорт, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили. Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо; просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно. Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые ускользали не только от пристрастных друзей, но и от людей, равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны. В такого рода разговорах, но без всяких искренних, дружеских излияний, которым, казалось бы, невозможно было не быть при расставанье на долгое время между друзьями, из которых один отправлялся с намерением предпринять трудное и опасное путешествие ко святым местам, доехали мы до первой станции (Химки, в тринадцати верстах от Москвы). Мих. Сем. Щепкин, приехавши туда прежде нас с сыном, пошел к нам навстречу и точно встретил нас версты за две до Химок. Приехавши на станцию, мы заказали себе обед и пошли все шестеро гулять. Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью дерев; говорили как-то мало, не живо, не связно и вообще находились в каком-то принужденном состоянии. Гоголь внутренно был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также в душе Константина, что

после тех писем, какие он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью в сравнении с прежним, смотрели на отъезжающего Гоголя. Мы воротились с прогулки, довольно скучной, сели обедать, выпили здоровье Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, продолжали разговаривать о. разных пустяках до приезда дилижанса, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем Гоголя в купе опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с его паспортом. Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе. В то же время, как мы отправились провожать Гоголя, его мать с дочерьми и Ольга Семеновна, также с дочерьми, отправились в двух экипажах к Троице помолиться богу. Марья Ивановна была очень огорчена: сердце матери предчувствовало долгую разлуку.

Из всего рассказанного мною очевидно, что в этот приезд Гоголя я не был доволен им так, как в первый приезд, хотя по его письмам должно было ожидать, что взаимная дружба наша сделается гораздо сильнее. Повторяю, что, несмотря на некоторые необъяснимые поступки Гоголя, я обвиняю в этом себя. Мне должно было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними посредником и судьей. Не надобно было смотреть на то, что Гоголь скрывал их; по рассказам Погодина я должен был понять, как страдал Гоголь. Если б нельзя было уладить их неприятности, то надобно было так устроить, чтоб Гоголь не жил с ним вместе. Здесь кстати сказать, что, возвращаясь в Россию если не навсегда, то надолго, Гоголь не имел намерения жить у Погодина: он хотел жить вместе с Н. М. Языковым, который по болезни не мог тогда еще воротиться в Россию. Впрочем, и то надо сказать, что впоследствии Гоголь жил вместе с Языковым в чужих краях, но не ужился, и, конечно, в этом должно обвинять не Языкова, у которого был характер очень уживчивый. Причиною неудовольствия был крепостной лакей Николая Михайловича,

который ходил за ним во все время болезни усердно, пользовался полной доверенностью своего господина и, по его болезни, полновластно распоряжался домашним хозяйством; Гоголь же захотел сам распоряжаться и вздумал нарушать разные привычки и образ жизни больного. Так по крайней мере говорили братья Языкова, к которым будто он писал сам, а также и его доверенный лакей. Когда приехал Языков на житье в Москву, я спрашивал его об этом, но он отвечал мне решительно, что это совершенный вздор и что никаких неудовольствий между ним и Гоголем не бывало. Нельзя предположить, чтобы братья Языкова выдумали эту историю; но, вероятно, преувеличили, основываясь не на письмах брата, а на письмах его камердинера. Ник. Мих. Языков до кончины своей показывал искреннюю и горячую привязанность к Гоголю. Как бы то ни было, успел ли бы я, или нет в своих действиях — вина состоит в том, что я их не начинал и что все это пришло мне в голову гораздо позже.

Вскоре после отъезда Гоголя «Мертвые души» быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России. К сожалению, должно сказать, что некоторые добрые и хорошие люди принадлежали к этой категории и остались в ней навсегда.

Распродажей «Мертвых душ» заведовал Шевырев и по мере выручки денег расплачивался с долгами.

Мы довольно скоро переехали на дачу. Там перечел я «Мертвые души» вслух своему семейству, прочитывал каждый день по одной главе, и тут только я понял всю великость этого творения. Я открыл в нем много красот, которые ускользнули от меня во время чтения Гоголя и даже моего собственного, всегда отрывочного и не вполне внимательного в суете городской жизни.

Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Васильевку, или Яновщину, уже после нашего переезда на дачу. Марья Ивановна с дочерьми провожала нас, когда мы уезжали из Москвы, и простилась с нами очень грустно; особенно плакала Лиза, которую сестра Анюта напугала рассказами о жизни в глуши Малороссии. Марья Ивановна — женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней уродами; она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям: она отдала им свое сердце и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний, по крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изредка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена, и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет оттого грустить больше. Вера очень справедливо пишет в письме к М. Карташевской, что как-то странно видеть мать Гоголя и слышать, как она говорит о нем. Например: *«Когда Николенька писал «Мертвые души», он желал только добра людям»* и т. п. выражения в этом роде. В самом деле, соединение подчеркнутых мною слов очень странно отзывается в ушах и в уме слушателя. Она, конечно, не может смотреть на него иначе, как на сына, и во всех словах о нем слышится материнское чувство, даже тогда, когда она говорит о нем как о великом писателе. Как она боится того впечатления, которое произведет на целую Россию его новая книга! Она боится неприязненного впечатления только потому, что это может его расстроить и повредить его здоровью. Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николеньки. Например, как он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она подозревает, и пр. и пр. Как она смотрит на портрет сына, который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его. «Он улыбается, — говорит она, — но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». Вера прибавляет, что я советовал Марье Ивановне записывать все воспоминания о детстве сына (кажется, всего было бы благонадежнее записывать их самим нам) и продолжает так: как любит Марья Ивановна всех тех, кто принимает участие в ее сыне! Она все старается уверить себя, что он воротится скоро, хотя он сам сказал ей, что это может быть не прежде пяти лет (чего он мне собственно никогда не говорил). Она увидала один

раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть…» и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына. 10 июня, живя на даче в деревне Гаврилкове, я только что кончил вслух чтение «Мертвых душ», как получил первое письмо от Гоголя из Петербурга.

***«СПБ. Июня 4 <1842>.***

Я получил ваше письмо еще в начале моего приезда в Петербург, милый друг мой Сергей Тимофеевич. Теперь пишу вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг. Кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. Он уже занялся печатаньем. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние набирают в день до шести листов. Все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр «Мертвых душ» еще не поднесен царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде. Обнимаю вас несколько раз. Крепки и сильны будьте душой! Ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другому, и потому сила отделится от меня, несомненно, в вашу душу. Верующие во светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих.

Прощайте, обнимите Константина Сергеевича и передайте мое сердечное рукопожатье Ольге Семеновне, а с ним вместе и всему вашему семейству. Обнимите также всех моих знакомых, всех, кого я видел и с кем был в Москве. Прощайте. Пишите в Гастейн».

Первое мое письмо в Петербург, о котором говорит Гоголь, не нашлось в его бумагах. Печатанье всех его сочинений в четырех частях в числе пяти тысяч экземпляров было поручено школьному товарищу и другу Гоголя, г-ну Прокоповичу. Я его совсем не знаю и никогда не видывал, но дело это он исполнил не совсем хорошо. Во-первых, издание стоило неимоверно дорого, а во-вторых, типография сделала значительную контрфакцию. Когда Шевырев впоследствии, с разрешения Гоголя, вытребовал все остальные экземпляры к себе в Москву, оказалось, что у книгопродавцев в Петербурге, и частью в Москве, находился большой запас «Мертвых душ», не соответствующий числу

распроданных экземпляров, так что в течение полутора года ни один книгопродавец не взял у Шевырева ни одного экземпляра, а все получали их из Петербурга с выгодною уступкою. По прошествии же полутора года экземпляры начали быстро расходиться и пересылаться в Петербург.

Теперь следует мое письмо с дачи.

***«1842. Июля 3-го, Гаврилково.***

Вот уже другой месяц живем мы в прелестной деревушке, милый друг Николай Васильевич. Другой месяц или читаем вас, или говорим о вас! Никому не поверю, чтоб нашелся человек, который мог бы с первого раза вполне понять ваши бессмертные «Мертвые души»! Я восхищался ими вместе с другими, а может быть, и больше других или по крайней мере многих; но восхищение мое было одностороннее. Некоторые, более выдающиеся (по натуре своей) части закрывали от меня остальное. Это мир божий… Можно ли одним взглядом его рассмотреть? Какое надобно внимание и разумение, чтоб открыть в нем совершенство творчества в малейших подробностях, по-видимому и не стоящих большого внимания? Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине. Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений. Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то теперь стало истиною, понятою еще немногими, но тем не менее непреложной истиной! Конечно, молодое поколение образованных юношей, все без исключения почти, кроме несчастных, лишенных всякого чувства изящного, более и полнее вас поймет, чем сорокалетние и пятидесятилетние люди. Все мы, с некоторыми изменениями, успели засорить свой ум, притупить чувство и не можем вдруг стряхнуть с себя сего ложного воззрения и направления. Константин написал статью, которая печатается в «Москвитянине»: в ней верно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшие и чувствовавшие других поэтов, не могут вдруг и вполне понять и почувствовать «Мертвые души». Я прочел их два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства; надобно некоторым образом остыть, чтоб не пропустить красот творения, естественно ускользающих от пылающей головы и сильно бьющегося сердца. Теперь

мы с жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, как оно выходило. Расстояние велико, но элементы уже те! Главное: свежесть, ароматность, так сказать, жизни непостижимые!.. Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого, столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома «Мертвых душ». А трагедия? Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы *до последней нитки*? Но да будет, что угодно богу. Да сохранит он только вас здрава и невредима.

Я получил ваше письмецо из Петербурга от 4 июня. Вы намеревались выехать из него ранее, чем предполагали; по крайней мере я помню, что поднесение экземпляров назначаемо было при вас; мы еще не имеем точного известия, когда именно выехали вы из этого северного Вавилона. Сердечно вас благодарю, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских; особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Картащевской. Эта необыкновенная девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мертвые души». Она удивила и восхитила меня своим письмом. Немного таких прекрасных существ можно встретить не только в Петербурге, но и в Москве и в целой православной Руси. — Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове; я сделал это, сколько мог успеть, ибо через неделю мы уехали из Москвы. Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. Перфильев сказал мне: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; все одно и то же, натянуто: видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит». Он прочел залпом в

один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в «Ревизоре», его не оскорбляли, но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором. Н. И. Васьков говорил, «что состав губернского общества неверен (как и в «Ревизоре», где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое; полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала все в дрянном и смешном виде, странно делать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу». Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: *«Посмотрим, что делает наш приятель?»* «И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?..» Не сочтите за выдумку последнего выражения; все правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу. — Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже четыре тысячи пятьсот, в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним)».

***«5-го июля.***

Вчера получил Константин письмо от Погодина, который отказывается напечатать его статью о «Мертвых душах», хотя она уже была набрана; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего… Ох, уж эти мне друзья, которые, не понимая хорошенько, вступают не в свое дело и присваивают себе не принадлежащие им права. Константин напечатает свою статью особой брошюркой. Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно

смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей. Погодин, наконец, третьего дни получил отпуск и скоро уезжает. Банкир ваш, Валентини, умер, итак пришлите мне немедленно ваш адрес в Рим. Жена моя не дождалась моего письма и писала к вам на прошедшей неделе.

Я теперь совершенно предался наслаждениям деревенской жизни. Местоположение у нас чудесное; дожди и грозы всякий день, но мимолетные, после которых еще свежее зелень, еще чище воздух, еще ароматнее цветы и травы. Всякий день встаю в четыре часа утра и спешу удить: и река и пруды у самого дома. Пекусь на солнце часу до одиннадцатого и бросаюсь в реку, чтоб прохладиться и освежиться. До обеда немного вздремну, до вечера сижу и гуляю с своими, а вечером опять удить. Я точно уехал за тысячу верст: ни с кем не вижусь, ни во что не вхожу и ни с кем не переписываюсь… Письмо к вам, милый друг, исключение! С вами я не расстаюсь ни на один час, также и все мое семейство. Желание поговорить с вами не оставляло меня ни на минуту, но я слишком полон был сильных чувств и потому нарочно мешкал несколько времени. Грустно мне, когда вздумаю, что время вашего возвращения так далеко… Когда мы вас дождемся?.. Много воды утечет в продолжение почти трех лет!.. А кто знает, велик ли запас ее! Притом какое длинное, трудное, со многими опасностями сопряженное путешествие! Часто я думаю, думаю и никак не могу объяснить себе причины этого последнего вашего путешествия. Неправда ли, милый друг, у вас не было и помышления о нем, когда вы воротились в Москву? Оно родилось мгновенно. По крайней мере я не подозревал его. По моему свойству и правилам я никогда не навязываюсь на доверенность друзей своих; потому не спрашивал и вас о причинах такой быстрой перемены, хотя был поражен ею… Теперь же меня это беспокоит. Может быть, вы желали мне сказать о них и ожидали только моего вопроса; может быть, мое молчание вы растолковали в другую сторону — и жестоко ошиблись!.. Как бы я желал, чтоб срок вашего отсутствия сократился и чтоб мы увидели вас скорее, опять посреди нашего семейства, которое все без исключения привязано к вам,

как к ближайшему родному. Сейчас получил письмо от Лизы. Маменька ваша и сестрицы доехали хотя не скоро, с хлопотами и убытками, но благополучно; они, верно, к вам пишут. Всем нам очень жаль Лизу: она будет скучать, и ей не сладиться с тамошней, деревенской жизнью. Константин будет к вам писать особо и скоро; но я не стал его дожидаться, потому что крепко захотелось перемолвить с вами словечко. К нам приехал третий и последний наш сын; часто бывает горько на душе, что уже не дождемся возвращения четвертого… Прощайте, милый, сердечный друг наш! Поминайте нас так же часто, как мы вас; чаще этого нельзя. Я предлагал Погодину, сейчас после вашего отъезда, заплатить весь ваш долг, но он отказался. Если вам понадобятся деньги, то, чур, ни к кому, кроме меня, не писать. Обнимаю вас крепко и долго. Да сохранит вас милосердный бог для всех вообще и для нас особенно! Все вас обнимают. Я был два раза у Шереметевой; она вас помнит и любит сильно.

Ваш душою
*С. Аксаков.*
Погодин едет завтра».

Статья Константина, о которой говорится в этом письме, была принята Погодиным в журнал без всякого сопротивления, но его сбил Шевырев. Погодин очень боялся, что мы с Константином осердимся за его отказ напечатать статью, и написал об этом большое письмо ко мне, но оно затеряно. Я отвечал очень ласково, что, может быть, он, как журналист, обязанный заботиться о выгодах журнала, поступает очень благоразумно, не помещая статьи, которая, разумеется, озлобит всех недоброжелателей Гоголя. Я умолчал о том, что мы намерены напечатать статью особой брошюркой, и уверял его, что Константин не питает никакого неудовольствия, что и было совершенно справедливо. Погодин очень обрадовался и написал к нам пренежную записку, в которой расхвалил Константина за его скромность и кротость. Погодин немедленно уехал за границу и, уже будучи в Париже, получил известие, что статья Константина напечатана. Ниже я приложу выписки из письма Погодина. — С. В. Перфильев исполнил свое обещание, прочел «Мертвые души» три раза и оценил их по достоинству. В словах моих, что отсутствие Гоголя может продолжаться *почти три года*, заключается ясное доказательство, что он никогда не говорил мне о своем отъезде на пять лет. Здесь кстати сказать несколько слов

о брошюре Константина. Погодин не ошибся в том, что она будет принята всеми враждебно. Статья называлась: «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Как только она вышла из печати, все журналисты, все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбесились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений посыпался печатно и письменно на Константина. Раздражение было так велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал восстания, но не всеобщего и не в такой степени неистового. Я был так удивлен им, что даже на некоторое время усумнился в справедливости моего собственного взгляда и суда. Двенадцать уже лет прошло этому событию; не один раз перечитал я эту брошюру с искренним желанием найти в ней справедливые причины общего раздражения. Собираясь писать эти строки, я еще раз прочел ее и не нахожу ничего, что могло бы оправдать волнение, ею произведенное. Раздавался общий крик, что Константин назвал Гоголя Гомером, что совершенная неправда. Константин сказал только, что у *Гоголя есть эпическое созерцание, древнее, истинное, какое было и у Гомера.* Я спрашиваю по совести каждого: значит ли это, что Гоголь равен Гомеру, что он Гомер? Бесновавшийся тогда Шевырев сам через несколько лет переврал в одной из своих статей именно эту самую мысль Константина, а потом и еще кто-то в одном из петербургских журналов повторил эту же мысль — и никто не обратил даже внимания на них. Этот общий неистовый гнев есть психологическое явление, остающееся неразгаданным: оно, без сомнения, явилось законно, и было бы любопытно объяснить его законность. Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не вовремя, в минуту общего недоуменья, поражения, так сказать, произведенного «Мертвыми душами», когда большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Константина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сначала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы. В этом отношении Гоголь был совершенно прав. Брошюра наделала ему много зла. Нашелся, однако, один добросовестный человек, П. А. Плетнев, который, в издаваемом им журнале «Современник», отозвался с большою похвалою и уважением о статье Константина.

К письму моему к Гоголю, приведенному выше от 3-го и 5 июля, были приложены выписки из писем Машеньки

Карташевской о «Мертвых душах», которые я считаю за нужное приложить здесь как факт, вполне выражающий то впечатление, которое произвела поэма Гоголя на человеческую душу, одаренную поэтическим чувством.

Выписки из писем Карташевской.

***«6 июня.***

Сегодня мы дочитали «Мертвые души». Боже мой, что это за совершенство! Я не могу передать тебе, как много я была поражена чтением этой поэмы! Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди этой пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими отличительными чертами. Что это за разговоры! и что за восхитительные места везде, где автор говорит сам от себя!.. Я перечитывала их по нескольку раз и даже не могла удержаться, чтоб иных мест не прочесть Ванечке; я просила его передать тебе, в каком я полном восхищении. Я даже просила его позволения означить карандашом те места, которые особенно превосходны. Делая это, я воображала, что передам тебе хотя отчасти свои впечатления и что, когда ты взглянешь на эти отмеченные листочки и перечтешь их, мы как будто перечтем их вместе. Воображаю, в каком вы были восхищении! Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант».

Из конца того же письма:

«… Вот и здесь (в деревне) скоро и жадно прочиталась поэма Гоголя. Это было чтение всеобщее. Любопытно слушала его и Надя. Я как-то предчувствовала, что Гоголь не просто едет за границу в Италию, что не эта страна отнимает его у нас; но я не знала ничего, потому что ты не писала мне, что он едет в Палестину. Можно вообразить, как он опишет эту страну! Еще скажи мне, написаны ли уже другие две части «Мертвых душ» и скоро ли мы можем надеяться прочитать их? Что будет в них! Как выше всякого выражения будет то удовольствие, которое обещает он нам! Как велики должны быть наши надежды, когда он сам объявляет, что *«явятся чудные образы, и все*

*повергнется в прах».*

***«16 июня.***

Как верно угадала я, еще из предыдущего твоего письма, что ты, не сознавая, может быть, сама, боишься, что я не почувствую всего удивительного совершенства «Мертвых душ». Ты думала, что они ускользнут от моего внимания, и между тем стараешься сама найти мне оправдание, говоря, что все достоинство этого сочинения не может быть постигнуто сразу. Вот что говорят твои строки и чего, может быть, ты не знаешь сама… И мысль, что «Мертвые души» не произведут во мне должного удивления, должна была тебе прийти, потому что совсем не так слушала я «Ревизора» и не таково было впечатление на меня этой пиесы, и ты это знала! Этому причиною были совсем другие обстоятельства. Не знаю, передало ли мое предыдущее письмо то глубокое впечатление, которое произвело на меня это сочинение; я чувствую, что полный отчет отдать в нем было бы трудно. Только поверь мне, что я ценю его так высоко, как должно, и что ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще менее ни одно из тех восторженных, как ты говоришь, мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло незамеченным, не почувствованным мною. Ах, как приятно и в разлуке знать, что чувства наши были одинаковы» и проч.

Вот вам точные выписки: выкинуты только нежные названия. Хотел было выбрать из других писем, но устал писать. Обнимаю вас, милый друг, крепко и горячо. Я лучше себя чувствую и привыкаю понемногу».

Погодин писал ко мне из Парижа от 1 октября <1842>:

«Как горько было мне услышать, что Константин напечатал свою статью о Гоголе! Как досадно мне было на вашу слабость! Неужели и в вас недостало столько литературной доверенности ко мне, чтоб согласиться со мною, что статья не годится для печати в первом виде? Неужели я не напечатал ее без основания? Неужели легко мне было прислать ее назад? Неужели не рад бы я был всякому успеху Константина?» и проч. и проч.

Теперь следует письмо Гоголя, полученное мною 11 августа.

***«Гастейн. Июля 27/15 <1842>.***

Здоровы ли вы, Сергей Тимофеевич, и что делаете со всеми вашими? Напишите мне об этом две-три строчки: это мне нужно. Вы, верно, знаете и чувствуете, что я об вас думаю часто. Из Москвы никто не догадался написать мне в Гастейн, и я слышу чрез то какую-то пустоту, которая мне несколько мешает вдыхать в себя полную жизнь. Я пробуду в Гастейне вместе с Языковым еще недели три, и в конце августа хотим ехать вместе в Венецию, где пробудем недели две, если не больше, и потому вы адресуйте, если почувствуете благодатное желание писать, прямо в Венецию, Poste restante. Напишите мне все: как вы проводите время, хороша ли дача, хороша ли рыбная ловля, веселятся ли как следует ваши дети? Ольге Семеновне скажу, что буду писать к ней, что предмет письма очень светел, и потому прошу ее быть как можно светлее до самого получения письма.

Да — кстати о письмах. Пошлите кого-нибудь на квартиру Нащокина (у Старого Пимена, в доме Ивановой) узнать, получено ли им письмо мое? Письмо это очень нужно и касается прямо его дела, а потому мне хотелось бы, чтобы оно было получено во всей исправности.

А моему милому Константину Сергеевичу напишу тоже письмо, несколько нужное для нас обоих. Сделайте милость, обнимите всех, кого увидите из моих знакомых. Если Павловы точно едут, то вы мне сделаете большую услугу присланьем чрез них некоторых книг, а именно: «Памятник веры», такой совершенно, как у Ольги Семеновны, и «Статистику России» Андросова, и еще, если есть какое-нибудь замечательное сочинение статистическое о России вообще или относительно частей ее, вышедшее в последних годах, то хорошо бы очень присовокупить его к ним. Кажется, вышел какой-то толстый том от министерства внутренних дел.

А Григория Сергеевича попрошу присылать мне реестр всех сенатских дел за прошлый год с одной простой отметкой: между какими лицами завязалось дело и о чем дело. Этот реестр можно присылать частями при письмах ваших. Это мне очень нужно. Да чуть было не позабыл еще попросить о книге Кошихина: При царе Алексее Михайловиче. Я прошу вас записать цену их, чтобы я знал, сколько вам должен. Я уверен, что

Павловы не откажутся привезть мне их. Обнимите их от меня обоих. Они, верно, не сомневаются в том, что я очень хотел бы их увидеть. Около октября 1-го я надеюсь быть в Риме. Прощайте. Не забывайте меня и пишите. Посылаю вам мой душевный поцелуй.

Ваш *Гоголь*.

Из Петербурга я писал письма — к вам, к Ел. В. Погодиной и к Над. Н. Шереметевой. Если вам случится увидеть последнюю, скажите, что я буду к ней еще писать скоро, и дайте ей мой адрес».

Надобно признаться, что почти все поручения Гоголя насчет присылки статистических и других книг, а также выписок из дел и деловых регистров исполнялись очень плохо; а между тем очевидно, что все это было ему очень нужно для второго тома «Мертвых душ». Павловы не поехали за границу, да и не думали ехать, а Гоголь счел их пустые слова за настоящее намерение. Конечно, отъезжающих за границу и кроме их было довольно, но мы плохо верили их аккуратности. Не помню, с кем-то были посланы один раз бумаги и книги, но они совсем не дошли до Гоголя и пропали. Несмотря на такие уважительные причины, должно сознаться, что все мы, без исключения, были не довольно внимательны к просьбам Гоголя. Я должен к этому присовокупить, что некоторые сведения, каких требовал Гоголь, мне казались не только недостаточными для узнания настоящего дела, но даже вредными, потому что сообщали неверные понятия.

Теперь следует одно из самых замечательных и самое огромное письмо Гоголя.

Надобно рассказать, как я получил его. Это случилось в начале сентября, именно 2-го. В этот день поутру прочел я вслух переделанную и дополненную повесть Гоголя «Портрет», напечатанную в третьем номере «Современника». Не защищаю ее фантастического содержания; но все дополнения, относящиеся к погибающему дарованию художника, привели меня в такой восторг, что слезы несколько раз прерывали мое чтение; тем не менее оно было так выразительно, что все слушавшие меня вполне разделяли мое восхищение. Целый день мы все были полны того благодатного чувства, которое оставляет по себе художественное создание. Вечером поехал я в Английский клуб и сел, по обыкновению, играть в карты. Вдруг приходит Томашевский и подает мне очень толстое письмо от Гоголя. Продолжая играть, я распечатал его, чтоб пробежать некоторые строки, но я попал на такие слова, которые сделали для меня продолжение игры невозможным. Я нашел на свое место другого

игрока и на извозчике прискакал домой; дома не только удивились, но даже встревожились моим необыкновенно скорым возвращением, но я развернул письмо и прочел моей семье следующее:

***«Гастейн. 18/6 августа <1842>.***

Я получил ваше милое письмо и уже несколько раз перечитал его. Вы уже знаете, что я уже было соскучился, не имея от вас никакой вести, и написал вам формальный запрос; но теперь, слава богу, письмо ваше в моих руках. Что же сделалось с тем, что писала, как видно из слов ваших, Ольга Семеновна, — я никак не могу понять: оно не дошло ко мне. Все ваши известия, все, что ни заключалось в письме вашем, все до последнего слова и строчки было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени, уженья в прудах и реках, и до известий ваших о «Мертвых душах». Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заране. Неопределенные толки, поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья, досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком, — все это я знал заране. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Все это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне все это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знал, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что, по мнению его, касается слишком тонких чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но все же сколько-нибудь раздражает

самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно все говорить и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны, — так же, как я знаю и то, что придет, наконец, такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что <заключается> в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие. Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок и может сказать всегда частную, по-видимому маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех — в этом была бы беда. Толков бы не было; всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, по-видимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного недвижного определения, — теперь нужно ловить толки и замечания; после их не будет. Я знаю, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: «Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению», делает хорошо, так предписывает

правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем вверяет, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее; но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Я был уверен, что Конст. Сер. глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять «Мертвых душ» с первого раза? — оскорбит многих. Мой совет — напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: *я первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Кон. Сер. прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в письме. Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза «Мертвые души», совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда, потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите,

что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую, и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак не знала этого. Все то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как все то, что идет от рассудка.

Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие. Вы говорите, что не можете понять ему причины; вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и все останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием; но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ, и ничем другим не мог выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? Разве произнес бы слова только: Так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по самой природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познанием людей и света; если в душе такого человека родилась подобная

мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие — то, верно она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно уже слишком благодетельна она, верно далеко оглянута она, верно и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела во имя Христа, то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже сам Христос? Разве все, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление ко Христу? «Где вас двое, там есть церковь моя». Или никто не слышит сих божественных слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; все, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви, — и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство.

Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал

слово любви сей человекам, откуда истекла она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя, что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только тому, кто рай блаженства низвел на землю, кто виной всех высоких движений, тому только считается как-то странным поклониться в самом месте его земного странствия. По крайней мере если кто из среды нас предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума, и речей, и жизни — одним словом, всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «Мертвым душам», лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали <ее> значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, нежданно налетевшим с небес откровением, чтобы оно не было вложено всемогущей волею бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки; а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей

жизнью и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговение же к промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей.

Прощайте. Это письмо будет и для Ольги Семеновны вместе; и не показывайте его другим. Лирические движения души нашей!.. неразумно их сообщать кому бы то ни было. Одна только всемогущая любовь питает к ним тихую веру и умеет беречь, как святыню, во глубине души душевное слово любящего человека. Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко. Раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы <мы> не увиделись опять, если только это будет нужно. Пишите мне все, что ни делается с вами и что ни делается вокруг вас. Все, что ни касается жизни, уже жизнь моя. Толков об «Мертвых душах», я думаю, до зимы вы не услышите. Но если, на случай, кто-нибудь будет вам писать о них, вы выпишите эти строки в письме ко мне.

Прощайте. Целую вас всей силою душевного лобзания; распространите его на всех близких вашему сердцу. Деньги мне не нужны раньше октября. Адресуйте на имя банкира due de Torlonia для передачи Гоголю. Шевыреву я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства. Нужно, чтобы эти деньги были уплачены как можно скорее. Они должны были быть отданы в первые два месяца».

К этому письму почти не нужно никаких объяснений, кроме

того, что в нем Гоголь, между прочим, отвечает на мое письмо, которое, как и многие другие, пропало. Хотя я не помню содержания этого письма, но решительно протестую против того, будто лирические места «Мертвых душ» показались мне смешными. Я никогда так не думал, а потому и не мог написать. Я подозреваю, не принял ли Гоголь мнений других, сообщенных мною в письме, за мои собственные единственно потому, что я вообще назвал их сделанными *не без основания*. Одно только лирическое место (стран. 58) показалось мне, да и теперь кажется, неуместным, сказанным рановременно. Можно ли говорить о том, что человек еще намерен произвесть. Разве будущее нам известно? К несчастию, смерть Гоголя и сожжение «Мертвых душ» служат ужасным доказательством справедливости моего замечания. Должно также сказать, что это чудное письмо произвело тогда на нас необыкновенно сильное впечатление, вероятно подготовленное утренним чтением переделанной или почти вновь написанной Гоголем повести «Портрет». Я сам, не совсем довольный религиозным направлением Гоголя, которое мне казалось мистическим, был не то чтобы убежден, но растроган, умилен, очарован этим письмом. Надобно признаться, что не совсем строго было выполнено желание Гоголя, требовавшего, чтобы мы только двое с Ольгою Семеновной прочли это письмо. Можно ли было не показать его Константину и старшим дочерям? Гоголь узнал об этом и был очень недоволен. Под большим секретом было оно прочтено некоторым нашим друзьям. В 1847 году, когда вышла известная книга: «Избранные места из переписки с друзьями», сильно меня взволновавшая, я имел непростительную слабость и глупость, в пылу спорного разговора, в доказательство постоянного направления Гоголя показать это письмо Павлову… Мне и теперь совестно, что я это сделал. Я был за это жестоко наказан: Павлов выпросил у меня это письмо на несколько часов, чтобы прочесть одному больному человеку, почтенному и достойному, любившему Гоголя, но сомневавшемуся в искренности его религиозных убеждений. Он уверил меня, что прочтение этого письма будет душевным и целебным наслаждением для больного, что это будет истинным добрым делом. Павлов не возвратил мне этого письма до сих пор: сначала говорил, что забывает привезть; потом, что куда-то далеко его запрятал, и, наконец, сказал, что он мне возвратил его, уверяя меня, что я забыл об этом. Я сердился и огорчался постоянно таким поступком и был убежден, что Павлов потерял письмо; но с год тому назад я узнал положительно, что это письмо было найдено в его бумагах, когда их разбирали полицмейстер Бакунин и жандармский капитан Воейков. Теперь я

вижу в этом письме лирический порыв, дифирамб, чем назвал сам Гоголь свое путешествие ко святым местам.

На это письмо Константин писал к Гоголю следующее:

> «Наконец, пишу к вам, дорогой Николай Васильевич… до сих пор не мог собраться. Мы получили ваше последнее большое письмо из Гастейна; мне нечего сказать вам, как только, что ни одно слово письма вашего не пропало для меня даром; все они отозвались глубоко и остались во мне своею благодатною силою. Бог знает, когда мы вас увидим; но оставайтесь далеко, живите, где хотите, идите, куда вас влечет: бог благословит всякий путь ваш и ваше дальнее путешествие. Если же только можете, не уклоняясь от желанного пути, то приезжайте к нам в Москву, которую, верно, вы постоянно видите и чувствуете, где бы вы ни были: она живое сердце нашей великой России; на ней лежит судьба ее, из нее все великое благо. Как будем мы рады, мы собственно, когда вас опять увидим. Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оставили нам книгу, которая произвела необыкновенный шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один решительно человек не остался равнодушен; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. Отовсюду слышны мнения: их говорит всякий; всякий открыл свое суждение и потому — при этом всеобщем объявлении своих мыслей, взглядов на вещи, при этом всеобщем признании, вынужденном книгою, — произошла такая разность мнений, такие поразительные несходства, что едва веришь ушам своим. Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет. Одни говорят, что только тут видят они Гоголя, который до сих пор далеко не так поражал их; что только тут почувствовали они его колоссальность; другие провозгласили было в самом начале, что эта книга — падение Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщим шумом, поднявшимся над их главами; они ограничиваются тем теперь, что указывают на прежние ваши сочинения, на Малороссию. Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на

конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать. *Посмотрите*, — говорил мне один, — *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги*. — Какая? — спросил я, выпучив глаза. — *В словах, которыми оканчивается книга*. — Как, в этих словах? — *Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа*. — И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение. — Одни говорят, что «Мертвые души» поэма, что они понимают смысл этого названия; другие видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: *натевот, грызитесь за это слово*. Многие помещики не на шутку выходят из себя и считают вас своим смертельным, личным врагом. Само собою разумеется, что ко всему этому присоединяются нападения на вас, на неприличие; с другой стороны, дается этим нападениям живой отпор. Я говорю вам, дорогой Николай Васильевич, пока вообще; но потом постараюсь написать мнения в отдельности — некоторые выражены печатно. Журналы не могут перестать говорить о «Мертвых душах»; не показывается номера, в котором бы не было об них толков. Шевырев написал две, пишет еще третью статью. «Отечественные записки», беспрестанно говоря и браня все мнения о «Мертвых душах», обещаются написать большую статью. Словом сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире, одни браня, другие хваля. Из последних одни — со слезами на глазах от того живого света русской жизни, проникающего наружу теплым лучом, перед которым падает всякое сомнение и растет надежда вместе с силами и бодростью духа. Другие — со слезами на глазах от совершенного отчаяния; они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояние России; говорят: *Гоголь не любит России; посмотрите, как хороша Малороссия и какова Россия*; прибавляют: *заметьте, что самая природа России не пощажена и погода даже все мокрая и грязная*. Но мне хочется также сказать вам собственно про себя, дорогой Николай Васильевич. Когда я слышал «Мертвые души», еще никакого впечатления целого не было возбуждено во мне. Я прочел их; я

чувствовал, что прекрасно; видел красоту создания, жизнь всякой отдельной черты; но что такое самое создание, какой общий смысл его, в котором соединяются в одно целое все эти чудные, живые черты, — этого я не мог себе постигнуть. Мысль была в недоумении; но потом открылась для меня внутренняя гармония всего создания: стали в одно целое все малейшие черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внешней анекдотической завязке (отсутствие которой смущает с первого разу), но на внутреннем единстве жизни, и тогда мог я наслаждаться самим созданием, целым его образом, который, кажется, стал доступен мне. Очень понятно, что тогда весь был я наполнен моим чувством наслаждения, впечатлением «Мертвых душ». Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова: *Поэма*, так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о «Мертвых душах», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. *Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется современный и свободный, в наше время — но это он.*

Я сказал Хомякову, что хотел бы написать о «Мертвых душах», он советовал мне то же, и я написал статью: *Несколько слов* для «Москвитянина». Туда не была она принята; тогда я напечатал ее брошюркой, которую не пустил в продажу, раздав только знакомым. Несмотря на то, она сделалась известна многим; брошюрка была написана скоро, может быть неясно, и на нее многие, почти все напали, искажая сказанные в ней мысли. Многого не досказал я еще там собственно о «Мертвых душах», что думаю и что случалось говорить мне здесь. Белинский умышленно или неумышленно изуродовал слова мои, напечатал на меня ругательную рецензию, на которую надо было мне отвечать, для того чтобы уничтожить ложь, на меня взводимую. Нет, Николай Васильевич, у меня не было чувства: *я первый понял*, и, кажется, не видать его в статье моей. Посылаю вам и брошюрку и мое возражение. Далеко и то и другое не дает еще чувствовать, что такое «Мертвые души». Прочтите и скажите мне, что вы думаете. В этих статейках сказано мое глубокое убеждение… Прощайте, дорогой мой Николай Васильевич, от всего сердца обнимаю вас. Белинский в восторге от «Мертвых душ», но, кажется, он их далеко не понимает».

В 1842 году писем Гоголя более не нашлось; но видно из письма Веры к Машеньке, что было письмо в декабре.

1843 год. Письмо без числа, но, вероятно, писанное в генваре:

«Благодарю вас, добрый друг мой Ольга Семеновна, за прекрасное письмо ваше. В нем слышны все движения души вашей. Всегда в минуты ваших душевных движений пишите ко мне. Все, что изольется из души вашей, останется святыней и тайной в душе моей. Слышите ли вы, что в последнем слове заключается упрек вам? Да, я люблю делать упреки тем, которых люблю: я просил вас, чтобы вы только вдвоем прочитали письмо мое, а письмо это читала вся ваша семья, и, кроме того, вы даже дали списать с него для себя копию. Я знаю, вы любите отвечать обыкновенно, что в семье вашей нет тайны, и отчасти думаете, что такой просьбой моей водит отчасти маленький каприз. Но бог весть, может быть, иногда не вовсе ничтожная причина двигает капризом. Но дело уже сделано. Исполните же по крайней мере теперь мою просьбу. Просьба отсутствующего должна быть священна. Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть прежде не говорит и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу, и больше ничего!

Еще просьба: не хвалите меня перед другими, по крайней мере менее сколько можно. Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то вроде святости и совершенства. Ради бога, не думайте так, это грех. В моей душе есть точно стремление к этому, но вы слышите ли, какое страшное пространство между стремлением и достижением! Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть. Эти слова вы можете только сказать обо мне. И если услышите нападения на меня, никогда не отвергайте их. Нападения не могут быть без причины. Лучше прилежно выслушайте их и передайте потом мне.

Прощайте! В минуты сильных ваших движений душевных всегда пишите ко мне. Если у вас родятся какие-нибудь упреки мне, смело их говорите. Упреков любящего человека всегда жаждало, как святыни, мое сердце».

Письмо это должно принадлежать к 1842 году и, вероятно, было приложено в письме ко мне, которое пропало. Оно, очевидно, есть ответ на письмо Ольги Семеновны, которое было

писано к Гоголю перед отъездом на богомолье в Воронеж, что происходило в октябре.

Теперь по хронологическому порядку следует мое письмо к Гоголю от 6 февраля 1843, которое прилагается здесь в оригинале:

> «У, какой хаос в голове! Как давно не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и как много накопилось всякой всячины, о которой надобно бы написать к вам и подробно и порядочно!.. Право, не знаю, с чего начать? Прежде всего надобно сказать вам причину такого долгого моего молчания, а потом, по возможности, рассказать исторически все происшествия (очень жалею, что не вел записки вроде журнала; но обстоятельства были так важны и мы принимали их так близко к сердцу, что до благополучного их окончания я не в состоянии был ничего писать). Я и все мои здоровы, но не писал к вам, во-первых, потому, что сначала мы были встревожены слухами, будто государь был недоволен «Мертвыми душами» и запретил второе их издание; будто также недоволен был «Женитьбой» и что четвертый том ваших сочинений задержан, перемаран и вновь должен быть напечатан (все это, как оказалось после, или совершенная неправда, или было, да не так). Во — вторых, не писал я к вам потому, что в бенефис Щепкина ставились на здешнем театре «Женитьба» и «Игроки»; разумеется, я не пропускал репетиций и сколько мог хлопотал, чтобы пиесы были поняты и сколько-нибудь сносно сыграны. Вчера сошел бенефис Щепкина, и сегодня принимаюсь я писать к вам; но, вероятно, ранее понедельника это письмо не отправится в Рим. Еще к 1 ноября ожидали мы ваших сочинений, даже книгопродавцы московские, не получа еще их, объявили в газетах, что такого-то числа поступят в продажу сочинения Гоголя. Я непременно хотел дождаться их появления, чтоб написать о всем, и о моих собственных впечатлениях, и о том, что произведут они на всю массу читающей московской публики. Но сочинения ваши запоздали своим выходом сами по себе, и потом действительно четвертый том был задержан (так что у нас были получены два первых задолго до получения четвертого; почему не было получено третьего, не знаю). Впрочем, эти задержки произошли вследствие особенных обстоятельств. Два цензора были

посажены под арест за пропуск какой-то статьи; это заставило их сделаться еще осторожнее и остановить выпуск некоторых уже отпечатанных книг, в том числе и четвертый том ваших сочинений. Наконец, все было получено без всяких исключений… Все (я разумею людей, способных понимать и чувствовать) были в восхищении, что истина восторжествовала. Все приписывают это самому государю (я то же думаю), и все восхищаются его высоким правительственным разумом. Вообще появление на сцене и в печати ваших творений будет памятником его царствования; мы благословляем его от души! — Пиесы, цензурованные для представления на театре, «Женитьба» и «Игроки», были получены гораздо прежде ваших сочинений; я имел случай читать несколько раз в обществе мужчин и дам последнюю и производил восторг и шум необыкновенный, какого не произвела она даже на сцене. На это есть множество причин: 1) На Большом театре, где обыкновенно даются бенефисы, многого нельзя было расслушать; итак, публика только вслушивалась в пиесы. 2) Главные лица: Подколесин и Утешительный дурно были исполнены Щепкиным… Остальных, мелочных причин не нужно исчислять. Но когда подняли занавесь, продолжительный гром рукоплесканий приветствовал появление на сцене нового вашего сочинения. Я не понимаю, милый друг, вашего назначения ролей. Если б *Кочкарева* играл Щепкин, а *Подколесина* Живокини, пиеса пошла бы лучше. По свойству своего таланта Щепкин не может играть вялого и нерешительного творенья, а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от привычных своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого им лица. Впрочем, надо было отдать ему справедливость: он работал из всех сил, с любовью истинного артиста, и во многих местах был прекрасен. Они желают перемениться ролями. Позволите ли вы? В продолжение великого поста они переучат роли, если вы напишете ко мне, что согласны на то. Верстовский (который вас обнимает: недавно я прочел ему «Разъезд», и он два дня был в упоении) и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли Подколесина бесподобен, но все прочие лица несравненно ниже московских. Послезавтра бенефис должен повториться на Большом театре, а потом пиесы ваши навсегда сойдут на Малый

театр. Актеры и любители театра нетерпеливо этого ожидают: там они <пиесы> получат настоящую цену и оценку.

Сам вижу, как беспорядочно мое письмо: но получение ваших сочинений, постановка пиес и все вообще так высоко настроили мои нервы, что они дрожат и предметы путаются и пляшут в голове моей. Лучше начать отчет о спектакле. «Женитьба» была разыграна лучше «Игроков». В первой женихи, особенно Садовский (*Анучин*, или *Ходилкин*, как перекрестил его г. цензор Гедеонов, который по глупости своей много кое-что повымарал в обеих пиесах о купцах, дворянах и гусарах: слово *«гусар»* заменил *«молодцом»*, вместо *Чеботарев* поставил *Чемоданов* и проч.), были недурны. Женщины, кроме Агафьи Тихоновны (Орлова, которая местами была хороша), сваха (Кавалерова)[8] и купчиха (Сабурова 1-я) вообще были хороши. Щепкин, ничуть меня не удовлетворяя в строгом смысле, особенно был дурен в сцене с невестой один на один. Его робость беспрестанно напоминала Городничего, и всего хуже в последней сцене. Переходы от восторга, что он женится, вспыхнувшего на минуту, появление сомнения и потом непреодолимого страха от женитьбы даже в то еще время, когда слова, по-видимому, выражают радость, — все это совершенно пропало и было выражено пошлыми театральными приемами… Публика грозно молчала всю сцену, и я едва не свалился со стула. Мне тяжело смотреть на Щепкина… Он так мне жалок: он переслуживает свою прежнюю славу. Хомяков, который был подле нас в ложе, весьма справедливо заметил, что те же самые актеры, появившиеся в средней пиесе (какой-то водевиль) между двумя вашими, показались не людьми, а картонными фигурками, куклами выпускными. — Оставляю писать до завтра, ибо очень устал».

***«7-го февраля.***

После спектакля я отправился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть огромная комната Кругелей, Швохневых и других. Они все дожидались нетерпеливо «Игроков» и часто меня спрашивали: что это за пиеса? Там все без исключения говорили следующее: «Женитьба» — не то, что мы

ожидали; гораздо ниже «Ревизора», даже скучно, да и ненатурально; а «Игроки» хороша, только это старинный анекдот; да и все рассказы игроков — известные происшествия». Один сказал, что нынче уже таких штук не употребляют и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны. Нашлись такие, которые были в театре, но уехали поранее, и я нашел их уже за картами, уверяющими, что они не могли попасть в театр, но что после непременно посмотрят обе пиесы. Странное дело: «Женитьбу» слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру; а теперь эту пиесу почти все осуждают. «Игроков» слушали гораздо холоднее, а пиесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой. Вчера был у меня Павлов, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен «Игроками» и, сидя подле меня, говорил, что это — трагедия, и ужасно бранил игру Ленского (занимавшего роль Ихарева. Я хотел дать ее Мочалову, но он пьет напропалую; да и Щепкин, по каким-то соображениям или отношениям, не хотел этого); но вчера, то есть на другой день представления, изволил говорить совсем другое, что «Женитьба» — шалость большого таланта, а «Игроков» не следовало писать, играть и еще менее печатать; что тут нет игроков, а просто воры или действие слишком одностороннее и проч., то есть говорил совершенный вздор. Когда же я ему напомнил вчерашнее его мнение, то он сказал, что был *ошеломлен* вчера и сегодня поутру все хорошенько обдумал… то есть признался откровенно во всем. (Хомяков говорит, что это торжество воли!..)»

***«8-го февраля.***

Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору». С пеной у рта кричит: *«Да где же у меня рожа крива?»* Это не выдумка. Верстовский просил меня написать к вам, что он берется поставить «Разъезд», а то дирекция возьмет его по разам. Исполняю его желание, хотя знаю наперед ваш ответ. — Обращаюсь к изданию ваших сочинений. Вообще оно произвело выгодное для вас впечатление на целую Москву, ибо главное ожесточение против вас произвели «Мертвые души». «Шинель» и «Разъезд» всем без исключения нравятся;

полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также. Судя по нетерпению, с которым их ожидали, и по словам здешних книгопродавцев, которые были осаждаемы спрашивающими, должно предполагать, что издание будет иметь сильный расход. Что касается до меня и до всех моих, то трудно сказать что-нибудь новое о наших чувствах: мы наслаждаемся *вполне*. Конечно, новые ваши творения, например «Шинель» и особенно «Разъезд», сначала так нас поразили, что мы невольно восклицали: *«Это выше всего»*, но впоследствии, повторив в несчетный раз старое, увидели, что и там та же вечная жизнь, те же живые образы. Но я, лично я, остаюсь, однако, при мнении, что «Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пиесы, *по языку*, по благородству и высокости цели, по важности своего действия на общество, — точно выше других пиес. Не говорю о других красотах его, которые он разделяет со всеми вашими сочинениями такого рода или содержания. — Мы слышали, что куда-то прислан экземпляр ваших сочинений для нас. Благодарим вас. Дай бог, чтоб наступило скорее время, или, лучше сказать, чтоб оно пришло благополучно, когда вы, сидя посреди всех наших, напишете на первом листочке: *«Милым друзьям»* и пр. Хотя я очень знаю, что действия ваши, относительно появления ваших созданий, заранее обдуманы; что поэт лучше нас, рядовых людей, прозревает в будущее: но (следую, впрочем, более убеждениям других, любящих вас людей) теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько… Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, такое ли содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим? Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе…

Вы так давно не писали к нам, что это наводит на меня сомнение; я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать. Вы дожидаетесь, может быть, пока оно пройдет совершенно. Если так, то, пожалуйста, пишите, не дожидаясь полного исчезновения неприятного чувства. Я сам знаю, что это ошибка, и не маловажная: с его стороны написать, а с моей —

позволить печатать. Но что же делать? Нам казалось, что смелое указание истинного взгляда может навести многих на настоящую точку зрения, и если это так, то чего смотреть на толпу, которая заревет, не понимая цели. Впрочем, это не извиняет меня: я, седой дурак, должен был понять, что этот рев будет неприятен вам. Есть люди, которые говорят, что он вам даже повредил; но я решительно не соглашаюсь с ними; вам вредить ничто не может. Одно могло бы быть вредно, и то как отсрочка — полное равнодушие, невнимание; но дело уж давно не так идет.

Теперь о нас самих. Мы здоровы по возможности. Я сижу на диете; только не умею ладить с временем и часто ложусь спать слишком поздно. Жена и все мое семейство вас обнимают. Намерение мое уехать в Оренбургскую губернию сильно поколебалось, и мы ищем купить деревню около Москвы, но до сих пор не находим. Я хочу только приятного местоположения и устроенного дома. Мысль, что вы, милый друг, со временем переселясь на житье в Москву, будете иногда гостить у нас, много украшает в глазах наших наше будущее уединение. Прощайте. Обнимаю вас крепко, да сохранит вас бог.

До гроба друг ваш
*С. Аксаков».*

Следующее письмо Гоголя — ответ на мое:

***«Рим. Март 18 <1843>.***

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой, и отдохнул душою, потому что, признаюсь, мне было слишком тягостно такое долгое молчание со всех сторон. Благодарю вас за ваши известия; мне они все интересны. Успех на театре и в чтении пиес совершенно таков, как я думал. Толки о «Женитьбе» и «Игроках» совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Относительно перемены ролей актеры и дирекция имеют полное право, и я дивлюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои силы и средства? Верстовского поблагодарите от души за его участие и расположение. А «Разъезда», натурально, не следует давать: и неприлично и для сцены вовсе неудобно. У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои, писанные одно за другим, так же как получили ли вы

сами мое письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора», — дело, которым, пожалуйста, позаймитесь. Там же я просил дать какой-нибудь отрывок Живокини, по усмотрению Мих. Сем., за его усердные труды.

Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли.

Относительно второго тома «Мертвых душ» я уже дал ответ Шевыреву, который вам его перескажет. Что ж до того, что бранят меня, то слава богу: гораздо лучше, чем бы хвалили. Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки; а у тех, которые восхищаются, невольно поселяется пристрастие и невольно заслоняет недостатки. И вы также не должны меня хвалить неумеренно никому и ни перед кем. Поверьте, что хвалится горячо, неравнодушно, то уже неумеренно. Меньше всего я бы желал, чтобы вы изменили к кому-нибудь ваши отношения по поводу толков обо мне. Я совершенно должен быть в стороне. Напротив, полюбите от души всех несогласных с вами во мнениях; увидите — вы будете всегда в выигрыше. Если только человек имеет одну хорошую сторону, то уже он стоит того, чтобы не расходиться с ним. А те, с которыми вы в сношениях, все более или менее имеют хорошие стороны. Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Загоскину и Павлову, но чувствую, что они не поверят: подумают, что я поднялся на штуки, или, пожалуй, примут за насмешку вроде *кривой рожи*, и потому пусть этот поклон останется между нами.

Но поговорим теперь о самом важном деле. Положение мое требует сильного вашего участия и содействия. Я думаю, вы уже знаете из письма моего к Шевыреву, в чем дело. Вы должны принесть для меня жертву, соединившись втроем вместе: вы, Шевырев и Погодин, — взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит — даже самая жизнь. Тысячи важных, слишком важных для меня причин и самая важнейшая,

что я не в силах думать теперь о моих житейских делах. Но обо всем этом, я думаю, вы узнали уже от Шевырева. Со вторым изданием распорядитесь, как найдете лучше; но так устройте, чтобы я мог получать по шести тысяч в год в продолжение трех лет, разделив это на два или три срока, и чтобы эти сроки были слишком точны. От этого много зависит. Впрочем, распоряжение относительно этого предоставьте Шевыреву. Он точнее нас всех. Слова эти слишком важны, и во имя бога я молю вас, не пренебрегайте ими. Сроки должны быть слишком аккуратны. Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме; мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если недостанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

А вас вместе с Погодиным я попрошу войти в положение моей маменьки, тем более, что вы уже знакомы с ней и несколько знаете ее обстоятельства. Я получил от нее письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь кое-как. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении: она знала, что мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение. Она знала это уже потому, что я отказался от своей части имения и отдал ей (сто душ крестьян с землями), тогда как сам не был даже на полгода обеспечен (последнего обстоятельства, натурально, она не знала, иначе бы отказалась и от имения и от всякой со стороны моей помощи, и потому я должен был почти всегда уверять ее, что я не нуждаюсь и что состояние мое обеспечено). Но и в сей мысли она была, однакож, очень деликатна и не просила меня о помощи. Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства. Ольга Семеновна, по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут, и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу без всякого отягощения

себя сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не говорил с нею никогда о подобных делах, ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. И, признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном: это все равно как бы хвастаться собою и своими добродетелями. Маменька должна меня знать просто как доброго сына, а судить о талантах моих не принадлежит ей. Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, — бросаю перо и расстраиваюсь во всем. В самом деле, положение затруднительно: чтобы объяснить все дело, нужно сказать правду и сделать ей ясным мое положение, а в объяснении моего положения будет уже заключаться ей упрек и беспокойство о моей участи; между тем письмо мое должно быть утешительно и заключать даже в себе умную инструкцию впредь. Но для того, чтобы разумно поступить в этом, для другого, может быть, незатруднительном, деле, мне нужно взглянуть как на совершенно постороннее для меня дело, взглянуть так, как я гляжу на характер и положение лица, которое принимаюсь внесть в мое творение: тогда только предмет может предо мною стать всеми своими сторонами и слово мое может быть проникнуто светом разума, а без этого слово мое будет глупее слова всякого обыкновеннейшего человека. Вот как еще мне трудно отрешиться от многих, многих страстных отношений, чтобы стать на ту высоту бесстрастия, без которого все, что ни производится мною, есть пошло, презренно и несет мне упреки даже от тех, которые, думая доставить мне добро, заставили произвесть его! Итак, войдите вместе с Погодиным в положение этого дела, объясните его маменьке, как признаете лучше. Во всяком случае как вы ни поступите, вы поступите в двадцать раз умнее меня. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите, но не упускайте также из виду и того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах,

довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случаться всякий год; и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег.

Я не знаю, могут ли принести мои сочинения, ныне напечатанные в четырех томах, какой-нибудь значительный доход. Одно напечатание их (листов, как я вижу по газетам, оказалось более, чем предполагалось) должно достигнуть до семнадцати тысяч. Притом как бы то ни было, книга в двадцать пять рублей не так легко расходится, как в десять, особенно если она даже не новость вполне. Я думаю, что в первый год она разве только окупит издание, а потом пойдет тише. Первые деньги после окупления издания я назначил на уплату долгов моих петербургских, которые хоть и не так велики, как московские, но все же требуют давно уплаты. Я знаю, что некоторым, даже близким душе моей и обстоятельствам, казалось странно, отчего у меня завелось так много долгов, и они всегда пропускали из вида следующее невинное обстоятельство. Шесть лет я живу, и большею частию за границей, не получая ниоткуда жалованья и никаких совершенно доходов (шесть лет я не издавал ничего); годы эти были годы странствия, годы путешествия: откуда же и какими средствами я мог производить все это? Если положить по пяти тысяч в год, то вот уже до тридцати тысяч в шесть лет. Один раз только я получил вспомоществование, которое было от государя и дало мне возможность прожить год. Кроме того, я в это время должен был взять моих сестер из института, одеть их с ног до головы и всякой доставить безбедный запас хотя по крайней мере на два года. Два раза я должен был в это время помочь маменьке, не говоря уже о том, что должен был дать ей средства два раза приехать в Москву и обратно. Должен же я был все это произвести какими-нибудь деньгами и средствами, итак, немудрено, что у меня набрались такие долги. А вы знаете сами, я вовсе не такой человек, чтобы издерживать деньги на пустяки; желанья мои довольно ограничены, и при мне нет даже таких вещей, которые бы показались другому совершенно необходимы. Но довольно об этом.

Не забудьте моей глубокой, сильной просьбы, которую я с мольбой из недр души моей вам трем

повергаю: возьмите на три года попеченье о делах моих. Соединитесь ради меня тесней, и больше, и сильней друг с другом и подвигнитесь ко мне святой христианской любовью, которая не требует никаких вознаграждений. Всякого из вас бог наградил особой стороной ума. Соединив их вместе, вы можете поступить мудро, как никто. Клянусь, благодеяние ваше слишком будет глубоко и прекрасно!

Прощайте. Больше я ничего вам не могу теперь писать. Да и без того письмо длинно. Напишите мне ваш адрес и, ради бога, не забывайте меня письмами. Они мне очень важны, как вы не можете даже себе представить, хотя бы даже были писаны не в минуту расположения и заключались в двух строчках, небольших. Не забывайте же меня.

Ваш *Г.*

Посылаю душевный поклон всему дому вашему. А Ольге Семеновне грех, что она совершенно позабыла меня и не прибавила от себя ни строчки ко мне. Конст. Серг. тоже грех, тем более, что ко мне можно писать, не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед чаем, на запачканном лоскуточке, в трех строчках, с ошибками и со всем, что бог послал на ту минуту.

Если кто-нибудь поедет за Языковым из Москвы, не забудьте прислать мне книг, если вышло что-нибудь относительно статистики России, известный «Памятник веры», который обещала Ольга Семеновна, и молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви, пустынниками и мучениками.

О моих сочинениях я не имею никаких известий из Петербурга. Прокопович до сих пор не отвечал на мое последнее письмо. К Плетневу я уже писал два письма, и ни на одно из них нет ответа.

Вот вам мой маршрут: до 1 мая в Рим, потом в Гастейн, в Тироле, до 1 июня. В июне, июле и августе адресуйте в Дюссельдорф на имя Жуковского, везде Poste restante».

Вслед за этим письмом Шевырев привез мне письмо, полученное им от Гоголя, которое хотя писано к Шевыреву, но равно относится как к нему, так ко мне и Погодину. Я считаю, что

имею полное право поместить его в моей книге. Вот оно:

«Наконец, после долгих молчаний со всех сторон, я получил письмо от тебя, бесценный друг мой! Поблагодаривши тебя за него от всей души, я принимаюсь отвечать на все его пункты. 1) Ты говоришь, что я плохо распорядился относительно дел моих и между прочим не сказал: как и в чем плохо и относительно каких именно дел. Что я плохо распорядился — это для меня не новость: я не должен и не могу заниматься моими житейскими делами вследствие многих глубоких душевных и сердечных причин; но о них после. Но тебе ни в каком случае не должно со мною церемониться; ты должен говорить все напрямик, не опасаясь никаким образом задеть каких бы то ни было струн самолюбия ли авторского, или просто человеческого, или чего бы то ни было, что называется обыкновенно чувствительностью и щекотливою стороною. Все будет принято благодарно и с любовью. Это я тебе говорю раз навсегда и прошу, ради дружбы нашей, не заставить меня повторить это в другой раз. Сколько я могу догадываться, вероятно плохое распоряжение относится к изданию моих мелких сочинений, и, вероятно, Прокопович сделал по неопытности какую-нибудь глупость. Впрочем, вот причины, почему я печатание их предпринял в Петербурге и распорядился не так, как бы следовало относительно разных выгод житейских. Издание всех сочинений моих непременно нужно было произвести, не откладывая и не затягивая этого дела, к Новому году или сейчас после Нового года: взглянувши на все и сообразя все, ты сам, может быть, проникнешь в необходимость этого. Признаюсь, я помышлял было обратиться к тебе, несмотря на то, что совесть кричала против этого. Но когда я увидел, что и Погодин едет за границу и что «Москвитянин» взвален на тебя, у меня недостало духу. Я думал обратиться к Серг. Т… но Сергей Тимофеевич сказал, что он будет летом в деревне; впрочем, молодые люди (Константин Сергеевич и братья) могут, оставаясь в городе, заведовать печатаньем. Я уже думал было поручить дело в Москве, но меня вдруг смутила мысль, что дело пойдет на страшную проволочку. Не говоря о медленности московских типографий, меня сильно остановило цензурное дело. Из всех цензоров один

только Никитенко был подвигнут ко мне участием искренним, но беспрестанная пересылка мелких пиес из Москвы в Петербург (они же поступали и к цензору не в одно время), письменные объяснения и недоразумения — все это мне предвещало такую возню, что у меня просто не подымались руки. И как я вспомню, чего мне стоило вытребовать и получить из Петербурга рукопись «Мертвых душ», после того как она уже целый месяц была пропущена комитетом… И притом Никитенко, при всем доброжелательстве, малороссиянин и ленив; его нужно было подталкивать беспрестанно личными посещениями. Все это заставило меня печатание производить в Петербурге. Прокоповичу я поручил потому, что знаю его совершенно с детства как лучшего школьного товарища: это человек во всех отношениях честный, и благородный, и деятельный, когда того потребуют. Плетнева я просил напутствовать его во всяких затруднениях. У Прокоповича было все лето совершенно свободно, и он мог неутомимо и безостановочно заняться печатанием. Этой работой я имел отчасти намерение возбудить его к деятельности, усыпленной несколько его черствой и непитательной работой.

Доходов от этого издания я не мог ожидать. Хотя, конечно, несколько неизвестных пиес (которых я имел благоразумие не печатать в журналах) могли придать некоторый интерес новости книге, но все же она не новость. Она из четырех томов, стало быть высокой цены никак нельзя было назначить. Большого куша вынуть из кармана при теперешнем безденежье не так легко, как вынуть пять или десять рублей. Но притом я не имею духа и бессовестности возвысить цену, зная, что мои покупатели большею частью люди бедные, а не богатые и что иной, может быть, платит чуть ли не последнюю копейку. Тут это мерзкое сребролюбие подлей и гаже, чем в каком-либо другом случае. Итак, несмотря на то, что напечатание стало свыше шестнадцати тысяч и что в книге сто двадцать шесть листов, я велел ее продавать никак не дороже двадцати пяти рублей. Первые экземпляры пойдут, конечно, шибче и окупят, может быть, издание, но там медленнее. Половину экземпляров или треть я хотел было назначить по отправке в Москву к тебе, но не знаю, удобно ли тебе и как это сделать — об этом меня уведоми. Итак, вот тебе все причины того

распоряжения, которое сделал я относительно этого дела. Конечно, можно было распорядиться и умнее, но у меня не было сил на то, не было сил потому, что я и не могу и не должен заниматься многим, что относится к житейскому, но об этом будет речь после. Весьма может быть, что Прокопович, как еще неопытный, многое сделал не так, как следует, и потому ты, пожалуйста, извести меня об всем. Я, натурально, не скажу Прокоповичу, что слышал от тебя, а издалека дам ему знать быть осмотрительней и благоразумней. Но довольно об этом; поговорим о втором пункте твоего письма.

Ты говоришь, что пора печатать второе издание «Мертвых душ», но что оно должно выйти необходимо вместе со вторым томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей… Итак, если над первой частью просидел я столько времени — не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего… Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй! Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пиес, тогда как я производил их, основываясь на разуменье самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и

пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года — это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше, сколько можно, о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине» извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть. Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время; нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что все, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга; иногда, по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и

движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений; а книгу мою большею частию прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих. Книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда, с помощью ее, впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но, вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня! Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души, в минуту слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!

Но довольно. Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но помолясь, приступаю теперь твердо. Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. С вами ближе связана жизнь моя, вы уже оказали мне те высокие знаки святой дружбы, которые основаны не на земных отношениях и узах и от которых не раз струились слезы в глубине души моей. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу, и не должен, и не властен думать о них. Не в силах я изъяснить вам их; они находятся в таких соприкосновениях со внутренней моей жизнью, что я не в силах стать в холодное и вполне спокойное состояние

души моей, дабы изъяснить все сколько-нибудь понятным языком. Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего. Если человек в полном разуме, в зрелых летах своих, а не в поре опрометчивой юности, человек, сколько-нибудь чуждый неумеренностей и излишеств, омрачающих очи, говорит, не будучи в силах объяснить бессильным словом, говорит только из глубины растроганной глубоко души, — верьте мне, тогда нужно поверить словам такого человека. Не стану вам говорить, что благодарность моя будет за это вам бесконечна, как бесконечна к нам любовь Христа, спасителя нашего. Прежде всего я должен быть обеспечен на три года, Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и с другими, если только последуют; но распорядитесь так, чтоб я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета. Я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние, для того чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляну всю Европу. Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю еще, будут ли на то какие средства. Издание и пересылку денег ты, как человек точный более других, должен принять на себя. Высылку денег разделить на два срока: первый — к 1 октябрю и другой — к 1 апрелю в место, куда я напишу, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради бога, чтобы сроки были аккуратны. В чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, например, я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо того вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда. В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым; но, слава богу, ему прислали, сверх ожиданья, больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и

выплатить. Ниоткуда не шлют мне, из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков, которые я получал прежде, когда был там Жуковский. Вот уже четвертый месяц, как я не получаю даже ни письма, ни известия и не знаю, что делается с печатанием. Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми: не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоянием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места и когда я услышал к тому душевную потребность; состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелой болезнью. Два раза уже в моей жизни мне приходилось слишком трудно… Не знаю, дадите ли вы веру словам моим; но слова мои душевная правда. И много у меня пропало чрез то времени, за которое не знаю чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами: я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы таким образом приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога и тогда как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если ж средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму, и, может быть, всякая копейка, брошенная мне, помолится о спасении души тех, которые бросили мне эту копейку. Но если эта копейка будет брошена вследствие отказа в чем-либо нужном себе, тогда не берите этой копейки; я не должен никому стоить лишения и теперь еще не имею права. Относительно другой части дел моих, насчет матери моей и сестер, я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину и изложу им, каким образом по имению поступить наилучше, если потребуется надобность такая. Я, сделав все, что мог, отдал им свою половину имения, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточно для своего собственного пропитания. Наконец, я одевал и платил за сестер, и это делал не от

доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери. Но откуда же и чем я мог сделать больше, мне не указал никто на это средств. Я даже полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо, двести душ, но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться; но в помощах такого рода должно прибегать к радикальным средствам, и об этом я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину, надеясь на прекрасные души их и на нежное участие их. И дай бог, чтоб я в силах был написать только; но мне кажется, что они лучше могут почувствовать мое положение, если только вникнут глубоко в мое положение. Боже! как часто недостает ни слов, ни выражений мне тогда, как толпится в душе много того, что б хотела выразить и сказать моя душа, и как ужасно тяжело бывает мне писать письмо… Есть миллионы причин, почему я не могу войти в дела житейские и относящиеся ко мне. Еще раз я должен сказать это: отнимите от меня на три, на четыре года все это.

Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость точно помочь иногда денежным образом моей матери, тогда, разумеется, взять из моих денег, вырученных за продажу, если только они окажутся; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении и, слава богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба. Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех, четырех лет. Но да внушит вам бог и вразумит вас! Вы всячески сделаете умнее и лучше меня. Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, то есть накопилось ли в кассе для меня денег? Мне нужны по крайней мере три тысячи пятьсот; две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожитья и поднятья из Рима.

Что касается до моего приезда в Москву, то ты видишь, что мне для этого необходимости не настоит, и, взглянувши глубоким оком на все, ты увидишь даже, что я не должен этого делать прежде окончания труда моего. Это, может быть, даже слишком тягостная мысль для

сердца, потому что, сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней, как нет меры любви моей к вам, которой я не в силах и не могу рассказать. Прощайте, пишите мне хоть по одной строчке, хоть по самой незначительной строчке. Письма ваши очень важны для меня, и они будут после еще важнее и значительней, когда я останусь один и потребую пустыней и удалений от всего для глубокого воспитанья, душевного воспитанья, которое совершается внутри меня святой чудесной волею небесного отца нашего. Прощай, я буду к тебе писать, может быть, скоро, вследствие другой уже моей потребности душевной. Целую и обнимаю тысячи раз… На это письмо дай немедленный ответ, чтобы я знал, что ты получил его. И если набрались деньги, то высылай их немедленно на имя Валентини, Piazza Apostoli, palazzo Valentini, потому что в апреле месяце мы думаем подняться из Рима.

Твой *Гоголь*».

Прочитав теперь внимательно, конечно не в первый раз, эти оба замечательные, задушевные письма, я должен признаться, что тогда они не были поняты и почувствованы нами, как того заслуживают. Я принял их к сердцу более моих товарищей. Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Впоследствии докажет это его письмо к нему и ответ Гоголя. Шевырев хотя соглашался со многими обвинениями Погодина, но, по искренней и полной преданности своей к Гоголю, от всего сердца был готов исполнять его желания. Дело в самом деле было затруднительно; все трое мы были люди весьма небогатые и своих денег давать не могли. Сумма, вырученная за продажу первого издания «Мертвых душ», должна была уйти на заплату долгов Гоголя в Петербурге. Выручка денег за полное собрание сочинений Гоголя, печатаемых в Петербурге Прокоповичем (за что мы все на Гоголя сердились), казалась весьма отдаленною и даже сомнительною: ибо надобно было предварительно выплатить типографские расходы, простиравшиеся до семнадцати тысяч и более рублей ассигнациями. Цена непомерная, несмотря на то, что печаталось около пяти тысяч экземпляров. Мы рассчитывали, что в Москве понадобилось бы на все издание не более одиннадцати тысяч.

Если мои записки войдут когда-нибудь, как материал, в

полную биографию Гоголя, то, конечно, читатели будут изумлены, что приведенные мною сейчас два письма, написанные словами, вырванными из глубины души, написанные Гоголем к лучшим друзьям его, ценившим так высоко его талант, были приняты ими с ропотом и осуждением, тогда как мы должны были за счастье считать, что судьба избрала нас к завидной участи: успокоить дух великого писателя, нашего друга, помочь ему кончить свое высокое творение, в несомненное, первоклассное достоинство которого и пользу общественную мы веровали благоговейно. Я сам теперь удивляюсь этому. Все, что можно сказать в объяснение такой странности, заключается в одном слове: не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку совершенно неопытному, тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как-то с Белинским, Полевым и Краевским), все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону.

Первым моим делом было послать деньги Гоголю; на ту пору у меня случились наличные деньги, и я мог отделить из них тысячу пятьсот рублей. Такую же сумму думал я занять у Д. <Свербеева>. Я отправился к нему немедленно, рассказал все дело и — получил отказ. Благосостояние его и значительный капитал, лежавший в ломбарде, были мне хорошо известны. Я сделал ему горький упрек; но он, не обижаясь им, твердил одно: «Я принял за правило не давать денег взаймы, а дарить такие суммы я не могу». Я отвечал ему довольно жестко и хотел уйти, но жена его прислала просить меня, чтоб я к ней зашел. Я исполнил ее желание, и хотя не был с ней очень близок, но в досаде на ее супруга я рассказал ей, для чего я просил у него взаймы денег и по какой причине получил отказ. Она вспыхнула от негодования и вся покраснела. Она быстро встала с своего дивана, на котором полулежала в грациозной позе, и, сказав: «Я вам даю охотно эти деньги», вышла в другую комнату и через минуту принесла мне тысячу пятьсот рублей. Я признаюсь в моей

вине: не ожидал от нее такого поступка; поблагодарил ее с волнением и горячностью. Между тем явился муж, и я беспощадно подразнил и пристыдил его поступком жены. Он был очень смешон: пыхтел, отдувался и мог только сказать: «Это ее деньги, она может ими располагать, но других от меня не получит». Очень довольный, что скоро нашел деньги, я сейчас отправил их в Рим через Шевырева и написал письмо к Гоголю. Через полгода он хотел выслать остальные три тысячи рублей. Не знаю хорошенько, были ли эти деньги высланы к Гоголю, ибо денежные его обстоятельства вскоре переменились. Во-первых, потому, что вследствие представления графа Уварова государь приказал производить Гоголю по три тысячи рублей в продолжение трех лет, и во-вторых, потому, что продажа полных сочинений Гоголя, несмотря на чрезвычайные расходы и контрфакцию, доставила значительную сумму денег: их доставало и на добавок к содержанию Гоголя, и на уплату его долгов, и даже на добрые тайные дела.[9]

Впрочем, я хорошо не знаю денежных дел Гоголя; всем этим заведовал с неусыпным старанием Шевырев.

Следующее письмо Гоголя к Ольге Семеновне, вероятно, писано в апреле 1843 года, потому что писано в ответ на поздравление Гоголя со днем его рождения, 19 марта.

> «Благодарю вас, Ольга Семеновна, за поздравление с днем рождения моего. Посылаю вам душевный поклон мой. Вы говорите, что для вас необходимо письмо мое, которое бы в минуту грусти и тревожного состояния души вознесло дух ваш превыше всего окружающего. Но какое письмо в силах это сделать? Глядите просто на мир: он весь полон божиих благодатен, в каждом событии сокрыты для нас благодати; неистощимыми благодатями кипят все несчастия, нам ниспосылаемые: и день, и час, и минута нашей жизни ознаменованы благодатями бесконечной любви. Чего ж вам более для возвышения духа? Будьте просто светлы душой, не мудрствуя. И если это вам покажется трудно и невозможно подчас, — все равно, старайтесь только стремиться к светлости душевной — и она придет к вам. Стремясь к светлости, вы стремитесь к богу, а бог помогает к себе стремиться. Старайтесь просто, безо всякого напряжения душевного быть светлу, как светло дитя в день светлого воскресения, и вы много, много выиграете и незаметно вознесетесь выше всего

окружающего. Если же вы все-таки убеждены в той мысли, что вам нужно письмо мое, то напишите Лизе, чтобы она прислала вам копию с того длинного письма, которое я посылаю к ним в одно время с вашим. Ей нечего секретничать с вами, и она должна прислать добросовестную копию, не выпуская ни одного слова. Хотя в письме этом заключаются обстоятельства, собственно к ним относящиеся, но я молился в то время, когда писал его, и просил бога, чтобы для всякого, кому бы ни случилось читать его, было оно благодетельно: а потому, может быть, вы отыщете в нем что-нибудь собственно для себя. Вы пишете, что не смущают вас никакие толки и речи обо мне и что вы верите душе моей. Конечно, последнее благоразумно. Благоразумнее верить тому, что происходит из души, чем тому, что происходит невесть из какого угла и баламутицы. Веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в пустяки, вы все-таки верите в пустяки и никогда не узнаете человека. Прощайте! Помните все это и будьте светлы душой. Душевно обнимаю вас и все ваше семейство.

Передайте два при сем следующие письма по принадлежности».

При хладнокровном взгляде на письма Гоголя можно теперь видеть, что большое письмо его о путешествии в Иерусалим, а равно вышеприведенное письмецо к Ольге Семеновне содержат в себе семена и даже всходы того направления, которое впоследствии выросло до неправильных и огромных размеров. Письмо к сестре, о котором упоминает Гоголь, осталось нам неизвестным. Но письма к другой сестре его, Анне Васильевне, написанные, без сомнения, в том же духе, находятся теперь у Кулиша, и мы их читали.

Вот письмецо без числа, но помеченное, что получено мною от Гоголя 22 апреля 1843 года.

«Я получил письмо от маменьки. Дела ее устроились; на этот год по крайней мере она обеспечена. В письме (которое вы, без сомнения, уже получили от меня чрез Хомякова) я забыл спросить вас, получили ли вы письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора». В нем было вложено письмецо к Ольге Семеновне и Конст. Сергеевичу. Получили <ли> они эти письма и отчего никто из них не отвечал ниж*е* двумя строчками? Что касается до Щепкина, то его просто следует выбранить. Я писал два письма к нему. Я не

сержусь на него, если уж у него такой обычай, чтобы не отвечать на письма. Но он должен по крайней мере сказать вам, чтобы вы уведомили меня, что письма точно получены, чтобы я не думал по крайней мере, что пропадают они. Подумайте сами, что не могло прийти в мою голову, когда во время самое трудное для меня и такое время, когда я ожидал более всего писем отвсюду, решительно отвсюду, и в это время все будто сговорились и бросили меня на три месяца самого тягостного состояния. Не забывайте меня, бесценный друг. Вы уже знаете из письма, которое получили от Хомякова, как нужно писать ко мне. Да хранит вас бог всех в ненарушимой светлости души и здоровье. Адресуйте в Гастейн (в Тироле) Poste restante».

Я не помню, чтоб когда-нибудь получил письмо от Гоголя через Хомякова, и вообще я удивляюсь и не знаю, какая могла быть причина, что мы так долго не писали к Гоголю? Надобно предположить, что письма как-нибудь задерживались на почте или вовсе не доходили.

Следующее небольшое письмецо Гоголя я решительно не знаю, к какому времени отнести.

***«Мая 5.***

На выезде из Рима пишу к вам несколько слов, почтеннейший друг мой Сергей Тимофеевич. Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство; а потому и теперь, как я ни хил и болезнен, но надеюсь на дорогу и на бога, и прошу у него быть в дороге, как дома, то есть, как у него самого в покойные минуты души, дабы быть в силах и возможности что-нибудь произвести. О том прошу молиться вас и прошу вас также попросить обо мне всех, которые обо мне молились прежде, потому что их молитвами я был доселе чудно сохраняем и среди тягости болезненных состояний зрел и укреплялся душой.

Напишите домой к маменьке моей запрос, получила ли она два моих письма, писанные после того, которое было приложено при вашем. Последнее, от 1 мая здешнего штиля, весьма нужное; об этом пусть немедленно вас уведомит она или сестра, а вы сообщите мне.

Обнимаю вас всех.

Ваш *Н. Г.*».

Это сомнительное письмецо написано так сбивчиво и таким дурным почерком, что должно предполагать, что Гоголь был болен или сильно расстроен нервами. Вероятно, его надо отнести к другому периоду.

Вот, наконец, письмо с уведомлением о получении денег, писанное, без сомнения, в мае месяце 1843 года.

> «Ваше письмо и деньги, бесценный друг мой, я получил исправно и скоро, и медлил ответом, выжидая писем от Шевырева и Погодина. Наконец, спустя две недели после вашего письма, получил я письмо от Шевырева от имени вас всех. В нем видна прекрасная душа писавшего, хотя заключается, впрочем, и журьба и что-то вроде не совсем отчетливого нагоняя, который, может быть, и справедлив со стороны вашей или, лучше — со стороны Погодина, от которого, я думаю, проистек он. Но все же таки следует подумать и то: «Однакож мне неизвестна еще его сторона, и странно бы мне по моей натуре судить о натуре другого, когда эта натура так несходна с моею». Но оставим все это. Смерть не люблю изъяснений. Все это неразумная трата слов и больше ничего. Лицо я гласное, стало быть, и все, что бы я ни сделал, будет гласно всем. Дурное, если есть у меня, то уж его никак не спрячешь: *шила в мешке не утаишь*; оно где-нибудь да выткнется непременно. Оправдываться значит не доверять времени, которое уяснит все.
>
> Вслед за вашими деньгами я получил еще от Прокоповича тысячу; стало быть, за первый год мне следует получить одну тысячу. Обо всем этом я уведомил уже Шевырева. Прокоповичу я написал выслать немедленно тысячу экземпляров и в продаже находящихся у него давать отчет в Москву всякий раз за два месяца до срочной высылки мне денег, дабы видеть по накопившейся сумме, откуда произвести мне высылку: из Петербурга или из Москвы? Прокопович находится вместе с экземплярами в полном распоряжении вашем, так что если бы потребовалось и все экземпляры выслать, то он их вышлет; но в этом я не вижу надобности: после вновь их нужно присылать в Петербург для тамошних книгопродавцев. К тому же экземпляры безопасны, если они только все находятся в руках Прокоповича, а не типографии, о проделках которой я узнал только теперь из письма Прокоповича. Он скрывал от меня, не желая меня ничем возмутить и

думая расплатиться банковыми билетами покойного своего брата, выдачею которых водили его несколько месяцев в присутственных местах. Но довольно толковать. Дела мои, как видите, все теперь в ваших руках. Обратимся собственно к нам самим.

Я заехал на несколько дней в Гастейн отдохнуть от дороги и отправляюсь в Дюссельдорф, где проведу часть зимы, а остальную в Голландии; а потому письма адресуйте все в Дюссельдорф. Хорошо бы было, если бы вы прислали что-нибудь из тех книг, которых я просил. Из Москвы, вероятно, отправляются немало этот год за границу; а так как всякий положил себе за правило побывать на Рейне, то ему не много труда будет стоить завезти посылку в Дюссельдорф и отдать ее Жуковскому.

На Константина Сергеевича я решительно теперь сердит: он мне не пишет ни строчки. Но вот лучше к нему самому записка. А вас обнимаю всею душою вместе с милым семейством вашим и жду от вас летних известий о покупке дачи и о прочем».

Записка Константину Сергеевичу:

«Что ж вы, Константин Сергеевич, мне ни слова? Я нахожусь в совершенном неведении теперь обо всех делах, которые делаются на свете. Не знаю, что делает Москва, ни о чем говорит она, ни что думает, ни о чем спорит, словом — не знаю вовсе, о чем идет теперь дело. Если вы несколько смутились письмом моим, которое когда-то было писано вам, то это письмо писано не в строку текущих дел; это письмо писано так, мимо; на него ответ вы мне дадите года через четыре, а известия текущие должны идти своим чередом; а потому вы уведомите меня обо всем, что делали и что слышали с самого того дня, как перестали ко мне писать. И что Николай Филиппович, и что Каролина Карловна, и что Ховрина, и что Самарин, и какие эффекты производите вы чтением, и что говорят вообще о чтениях Мих. Семеновича.[10]

Все это, вы знаете, мне интересно. Простите, что я вас не благодарил до сих пор за присылку ваших статей о «Мертвых душах». И та и другая имеют свои достоинства (писанная, как мне кажется, должна принадлежать Самарину), но в печатной, не прогневайтесь — видно много непростительной юности,

и написанная кажется перед нею написанною стариком, хотя в ней и нет тех двух-трех истинно поэтических мыслей, как в вашей.

Прощайте; обнимаю вас».

В приписке к Константину, вероятно, Гоголь говорит о прежнем своем письме. Впрочем, может быть, было и другое, как-нибудь затерянное, содержание которого я забыл. Вместе с печатной брошюркой Константина была послана рукописная статья Самарина, вполне заслуживающая отзыв Гоголя.

Вот ответ Гоголя на письмо Ольги Семеновны от 22 апреля.

***«20 июня <1843>. Дюссельдорф.***

Я получил от вас, Ольга Семеновна, письмо, присланное мне из Рима (от 22 апреля старого стиля), на которое нахожу приличным сей же час отвечать. Вы неправы в том, что упрекаете себя за то, что предложили маменьке взять деньги, вырученные за продажу «Мертвых душ», и разрушили, как вы говорите, деликатные семейственные отношения. Во-первых, вы не могли знать этих отношений. Во-вторых, в самом поступке вашем ничего нет неблагоразумного и никакого худого намерения. А все то, в чем нет дурного намерения и что вместе с тем не противно здравому рассудку, данному нам богом, не есть уже грех. Если же оно предпринято еще к тому с добрым намерением и желанием истинного добра, то уже оно никогда не может послужить худому. Бог направит его всегда к хорошему, хоть вовсе другим путем, чем мы думаем. В-третьих, в отношении меня вам вовсе не следует руководствоваться ни в каком случае осторожностью оскорбить какие-либо тонкие отношения. Со мной нужно все спроста; и к тому же все случаи жизни обращаются мне в пользу. Так по крайней мере было доселе, и так, я верю, будет вперед.

Письмо ваше заставило маменьку написать ко мне два такие письма, которые заставили меня строго подумать о другой важнейшей помощи, которой они все вправе ожидать от меня, и я написал, наконец, то письмо, которое бы мне давно следовало написать, но которого бы я не сумел никогда написать, не получивши прежде этих двух писем. Правда, обдумыванье его у меня отняло много времени, и я ничем не в силах был заняться до тех пор, пока не написал его. Но я исполнил свой долг и покоен в душе. И теперь вас благодарю за то,

за что вы себя упрекаете. А лучше все поблагодарим бога за все, что ни посылается нам. Ибо все, что ни посылается нам, посылается на вразумление и уяснение очей наших. Прощайте!»

Письмо это объясняется само собою; но сначала Гоголь сам был недоволен, и потому Ольга Семеновна писала к нему письмо, в котором обвиняла себя за то, что вмешалась не в свое дело. Что же касается до письма, писанного Гоголем к матери или вообще к своему семейству, то я его не знаю. Без сомнения, оно было нравственно-поучительного содержания. Очевидно, что мысль наставлять, поучать других уже существовала в голове Гоголя.

<Далее следует письмо **из Бадена от 24 июля 1843 года>.**

«Благодарю вас за книги, которые получил от кн. Мещерского в исправности. Вообще все посылки доходят до меня исправно: русские встречаются между собой поминутно и имеют всегда возможности препроводить и передать туда, где я. Мне жаль, что вы не дали знать Шевыреву: он бы тоже прислал мне свою речь об воспитании и взгляд на русскую словесность за прошлый год. Может быть, даже накопились и кое-какие критики и разборы моих сочинений. Всего этого мне бы очень хотелось.

Какая, между прочим, я скотина: я написал к вам об одном пункте письма, писанного Шевыревым от вас всех. Еще недавно я прочел его вновь. Письмо это так прекрасно и такой исполнено дружбы, что я удивлялся не один раз, как гадок человек: ему достаточно увидеть одно пятнышко какое-нибудь, и уж он только и видит пред собою это пятнышко, все прочее ему нипочем. Мне просто показалось, будто до сих пор еще не верят душевному моему слову. Я вспомнил одно обстоятельство Погодина относительно меня, которое просто произошло от простоты его, а не от чего другого, и в это время скользнула мне в письме одна фраза, показавшаяся намеком на то же. Но в сторону об этом. Оно послужит пусть уроком, что ни в каком случае не следует предаваться первому впечатлению, особенно если оно сколько-нибудь неспокойно и если примешалась какая-нибудь оскорбленная мелкая страстишка. Слухи, которые дошли до вас о «Мертвых душах», все ложь и пустяки. Никому я не читал ничего из

них в Риме, и, верно, нет такого человека, который бы сказал, что я читал что-либо вам неизвестное. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового. Но, увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал к вам и которые просил вас взять на себя, слишком у меня отняли времени; ибо я все-таки не мог вполне отвязаться и должен был многое обработать оставшееся на мне, от которого иначе я не мог никак избавиться. Вы уже сами могли чувствовать по той просьбе, по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было, верно, нужно, чтоб время было употреблено на другое. Может быть, и болезненное мое расположение во всю зиму и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего пребывания там, нарочно отдаляло от меня труд для того, чтоб я взглянул на дело свое с дальнего расстояния и почти чужими глазами.

Но прощайте. Будьте здоровы. Пишите по-прежнему в Дюссельдорф, Poste restante. Я только на одну неделю в Бадене. Жуковский тоже не в Дюссельдорфе, а в Емсе на водах. Уведомьте, купили ли дачу? Мне кажется, что вам поездка в Оренбургскую губернию пригодилась бы лучше всего».

Как много говорит это письмо в пользу Гоголя! Из предыдущего письма ко мне точно можно было заметить, что Гоголь был не совсем доволен письмом Шевырева, писавшего от себя и от Погодина вместе. Но он выразился так скромно, так кротко, как нельзя более; и со всем тем он раскаялся и в этих немногих словах и в чувстве негодования против Погодина. Вероятно, в письме к Шевыреву Гоголь обвинял себя еще более и выражал еще нежнее чувство своей благодарной дружбы. Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать у Гоголя время и могли мешать ему писать?[11]

Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление. Впрочем, это слово не выражает дело; это собственно не религиозное, а нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать

других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех его письмах тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, уже начинал звучать этот противный мне тон наставника. В это время сошелся он с графом А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней, но высокость нравственного их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее, ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской; но Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня…» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней. Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого без сомнения погубила та же заграничная жизнь. Так по крайней мере я думаю.

Вот еще коротенькое письмецо Гоголя:

***«Дюссельдорф. 30 августа <1843>.***

> Письмо ваше и вместе с ним другие, приобщенные к нему, я получил. Книги получены также в исправности, как чрез кн. Мещерского, так и чрез Валуева. Перешлите мне, если найдете оказию, «Москвитянин» за этот год: там есть статьи, меня интересующие очень. О благодарности за все ваши ласки нечего и заикаться. Константина Сергеевича благодарю также за письмо, хотя не мешало бы ему быть и подлиннее. Если увидите Шевырева, то напомните ему о присылке мне остальной тысячи за прошлый год. Да если можно, вместе с тем и

вперед, что есть. Ибо первого октября, как вы знаете, срок и время высылки. Душевно скорблю о недугах Ольги Сергеевны и мысленно помолился о ниспослании ей облегченья.

Прощайте, душевно вас обнимаю всех.

Адрес по-прежнему в Дюссельдорф».

Более писем Гоголя к нам в этом году не нашлось. В это время Погодин, бывший жестоко раздражен против Гоголя и не писавший к нему ни строчки, вдруг прислал мне для пересылки маленькое письмецо, которое я вместе с своим и отослал к Гоголю. Я считаю себя вправе поместить его в моих записках, потому что оно было возвращено мне Гоголем вместе с его ответом Погодину.

***«Москва. 1843 г. сент. 12.***

Наконец, нашел я в себе силу увидеть тебя, заговорить с тобою, написать к тебе письмо. Раны сердца моего зажили или по крайней мере затянулись… Ну что, каков ты? где ты? что ты? куда? Я чувствую себя теперь довольно хорошо, пил опять марьенбадскую воду, а теперь на простой. Но зима была тяжелая: часто показывалась кровь из горла, и голова беспрестанно тяжела.

Не случилось ли чего особенного в душе у тебя около 3/15 сентября? Ты знаешь, что я немножко по Глинкиной части и верю миру невидимому с его силами. Около 3-го числа я как будто примирился с тобою; а до тех пор я не мог подумать о тебе без треволнения! Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после — прибавило мне еще больше муки, и ты являлся, кроме святых и высоких минут своих, отвратительным существом…

Посетив мать твою в прошлом году, я почувствовал, что в глубине сердца моего таилась еще искра любви к тебе, но она лежала слишком глубоко. Наконец, я стал позабывать тебя, успокоивался… и теперь все как рукой снято. Ну, слава богу! Я готов опять и ругать и любить тебя.

Твой *Погодин*».

Прилагаю письмо Погодина ко мне, из которого видно, что я противился помещению в «Москвитянине» добавочных сцен к

«Ревизору». Это письмо вполне объясняет образ действий Погодина с Гоголем:

> «Вы не советуете! Т. е. Гоголь рассердится!! Да помилуйте, Сергей Тимофеевич, что я в самом деле за козел искупления? Неужели можно предполагать, что он скажет: пришли и присылай, бегай и делай, и не смей подумать об одном шаге для себя. Да если б я изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего журнала, то и тогда Гоголь не должен бы был сердиться на меня; тем более, что «Ревизор» есть уже произведение аккредитованное, а не новое, которому ни вредить, ни помогать нельзя. А я, наоборот, думаю сделать подспорье своему же (т. е. «Ревизора») изданию: вот-де какие большие исправления и вставки. Впрочем, повторяю, я думаю так. Сыщите средство лучше. Я оставлю свое, вам прекословить не буду и буду содействовать. Дело в том, что надо посылать ему деньги. Если средства вы не находите, то согласитесь на мое, но прямо, ясно, или скажите мне, что находите в нем несогласного с пользою автора? Я готов оставить его; но тогда вопрос: что же нам делать? Посылать деньги? Откуда? Печатать? На какие деньги? И дожидаться год, а он без гроша. Теперь я рассчитываю войти в сделку через месяц, как хозяин с книгопродавцами, или и прежде, и выручить деньги, следовательно могу перехватить на месяц. Напечатать я готов, пожалуй, для него и продавать от него; но в таком случае посылать теперь нечего, а ему нужно. Избегая всего этого, я предлагаю самое верное средство и жду вашего разрешения».

Это письмо требует объяснения. Дело состояло в том, что Гоголь прислал «Ревизора» для напечатания вторым изданием или для продажи его книгопродавцу. Мне тогда было не до того, и я передал все Погодину. Он решился сам купить второе издание за тысячу пятьсот рублей ассигнациями и уведомил об этом Гоголя, но особые, добавочные сцены «Ревизора» вздумал напечатать особо в своем журнале. Я узнал об его намерении и писал, что не советую этого делать. Прилагаемое письмо Погодина — ответ на мою записку. Я согласился на предложение Погодина, потому что точно денег негде было взять для печатания и что выручка от распродажи должна была затянуться. Тогда-то и послали мы (о чем уже было сказано) шесть тысяч рублей на первый год, как просил Гоголь. Слова же Погодина, что *если б он изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего*

*журнала, то Гоголь не имел бы права сердиться*, ясно показывают натуру Погодина, который, ссудив деньгами Гоголя, считал себя вправе поступать с его великим творением по собственному произволу.

Возвращая Аксакову письмо Погодина, Гоголь приложил следующий ответ последнему:

> «Между нами произошло непостижимое событие: ту же тяжесть, какую ты чувствовал от моего присутствия, я чувствовал от твоего. Как из многолетнего мрачного заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сомнения, боязни. Самый вид твой, озабоченный и мрачный, наводил уныние на мою душу; я избегал по целым неделям встречи с тобой. Когда я видел, как с помощью какой-то непостижимой силы закрутился между нами вдруг какой-то посторонний вихрь, в каком грубом, буквальном смысле принимался всякий мой поступок, какое топорное значение давалось всякому моему слову — почти ужас овладевал моей душой. Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистою силою: ибо то, что ты приписывал мне в уединенные минуты размышлений (чего, может быть, не сказывал никому), то можно приписать только одному подлейшему лицемеру, если не самому дьяволу. Надобно тебе сказать, что все это слышала душа моя. Несколько раз хотел я говорить с тобой, чувствуя, что все дело можно объяснить такими простыми словами, что будет понятно ребенку. Но едва я начинал говорить, как эти объяснения вдруг удерживались целою кучею приходивших других объяснений, объяснений душевных; но и им мешало излиться находившее вдруг негодование при одной мысли, против каких подлых подозрений я должен оправдываться и пред кем я должен оправдываться? Пред тем человеком, который должен был поверить одному моему слову. Но и негодование сменялось в ту же минуту презреньем к твоему характеру, который называл я внутренне бабьим, куриным, и, сказавши несколько бессвязных слов, которые ты все относил к моей необыкновенной гордости, я бежал от тебя. А убежавши, утешал себя злобным выражением: «Пусть его путается! Душевному слову не поверил, пусть же поверяет умом

своим!» Все это быстро сменялось одно за другим в душе моей, и когда я подходил к дверям своей комнаты, все это исчезало и на место него оставался один вопрос: что это такое, что значит все это? Наконец, мало-помалу я начинал прозревать в этом событии справедливое себе наказание. Надобно сказать тебе, что, воспитываясь внутренно в душе моей, я уже начинал приобретать о себе гордые мысли. Мне уже казалось, что я ничем не могу быть рассержен и выведен из себя. Я старался мысленно сжиться со всеми возможными оскорблениями, несчастиями, старался их всех, так сказать, перечувствовать на своем теле и уже чувствовал, что душа моя приобретает крепость, что я могу снести то, чего не снесет иной человек. Словом, я уж чуть не почитал себя преуспевшим в мудрости человеком. И вдруг событие это дало почувствовать мне, что я еще ребенок и стою до сих пор на низших ступенях пути своего. Противу дальнейших случаев я приготовил в душе отпор, а против близких не приготовил. Все несчастия я бы, может быть, перенес, а не перенес *сомнения обо мне одного из близких*. И в душе моей проснулись те враги, которых я давно считал отступившими от меня: мерзкий, подлый и гадкий гнев, которого ничего нет подлее, который подл даже и тогда, когда вспыхнет от справедливых причин. А у меня он был и несправедлив: я рассердился на то, что ты хватил сгоряча топором там, где следовало бы употребить инструмент помельче. Наконец, я сердился на себя и за то, что не в силах был перенести этого хладнокровно. Все это, натурально, я должен был таить в душе и могу сказать только то, что от меня никто не узнал о том, что между нами происходили какие-нибудь неудовольствия. Но когда вырвался я от тебя, у меня была одна и та же мысль: написать тебе подробно всю мою исповедь. Но тут увидел, что наши жизни так различны, так много следовало выводить тебе объяснений для того, чтоб познакомить тебя и ввести в этот мир. Всякое слово требовало объяснений на целых страницах, чтоб не быть приняту в другом смысле. Почти отчаяние овладело мною; я видел, что и конца не будет моей исповеди, а между тем оставить ее я не мог, потому что мысль о ней мешала всякому занятию. Наконец, я попробовал написать тебе маленькое письмо, в котором просил просто прощения за все оскорбления, которые я нанес

тебе, складывая все на мой неровный характер, припомня, что ты иногда многое, чего не мог понять во мне, объяснял им. На это письмецо не было ответа — и поделом. Оно не было удовлетворительно. Если бы оно было удовлетворительно, то по отправлении его в душе моей настало бы спокойствие; но мысль об этом мучила меня еще целый год. Наконец, после некоторых переездов из земли в другую, я стал покойнее и почувствовал, что могу объяснить хладнокровно все дело на нескольких страницах. Но получа твое нынешнее письмо, я отложил и эту мысль. Изъяснение будет уже походить на оправдание, а оправдание есть уже что-то подлое. Оправдывая себя, уже обвиняешь другого. Теперь же ты, как видно из письма твоего, хладнокровен и готов простить все. Итак, разбери сам все это дело. Не беспокойся, раны твои не оживут при этой работе, если ты точно решился простить. Тут-то и нужно представить живей все нанесенные нам оскорбления; а без того прощение ничего не значит, оно будет просто одно слабосильное забвение. Чтобы сделать это благороднее, начни обвинением самого себя, хотя бы ты и был прав. Я тебе помогу и скажу две твои первоначальные вины, от которых произошли все те поступки, на которые ты глядел, как на самобытные начала, и выводил из них отдельные истории, тогда как они все были звена одной и той же цепи. Все эти вины: первая — ты сказал верю — и усумнился на другой же день, вторая — ты дал клятву ничего не просить от меня и не требовать, но клятвы не сдержал: не только попросил и потребовал, но даже отрекся и от того, что дал мне клятву. Отсюда произошло почти все. Но не пугайся: я больше твоего виноват, и ты увидишь, что я себя не пощажу, если начну обвинять. Но если ты начнешь обвинением себя, а не меня, тогда ты увидишь и свои и мои проступки. Припомни все. Я знаю, что ты способен забывать; но, к счастью, я памятлив и уверен сильно в том, что и добро и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Большие мои проступки ты не позабудешь; но все малые мои мерзости и оскорбления, которые я нанес тебе, советую записать, чтобы я не напал на тебя врасплох и чтоб тебе

не отречься от многих твоих же слов. Я вновь тебе повторяю, что помню все, даже угол и место комнаты, где было произнесено какое слово твое или мое. Когда я в силах буду глядеть на тебя, как на совершенно постороннего, чужого человека, у которого не было со мной никаких связей и сношений, и когда таким же самым образом взгляну и на себя, как на совершенно чужого мне человека, тогда я дам тебе на все изъяснение. А между тем позволю себе сделать следующее замечание. Ты никогда не всматриваешься во внутренний смысл и значение происходящих событий. Все события, особенно неожиданные и чрезвычайные, суть божьи слова к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься: что они значат, чего ими требуется от нас? Без этого никогда не сделаемся мы лучшими и совершеннее. Самое это затмение, которое произошло между нами, так странно, что его нужно помнить во всю жизнь нашу. Я уже извлек из него много для себя, советую и тебе сделать то же. Я знаю, что у тебя, за тысячью разных хлопот и забот, дергающих тебя со всех сторон, нет времени переворачивать на все стороны всякое событие и оглядывать его со всех углов. Но нужно это делать непременно хотя в те немногие минуты, когда душа слышит досуг и способна хотя несколько часов прожить жизнью, углубленною в себя. Иначе ум наш невольно привыкает к односторонности, схватывает только то, что поворотилось к нему, и потому беспрестанно ошибается. Недурно также, хотя по поводу этого события, руководствоваться какими-нибудь данными положениями относительно познания людей. Для этого есть, по моему мнению, два способа. Те, которые не получили от природы внутреннего чутья слышать людей, должны руководствоваться собственным разумом, который дан нам именно на то, чтобы отличать добро от зла. Разум велит нам судить о человеке прежде по его главным качествам, а не по частным, начинать с головы, а не с ног. Прежде следует взять самое лучшее в человеке, потом сообразить с тем все замеченное нами в нем дурное и сделать такую посылку: возможны ли, при таких-то хороших качествах, такие-то и такие мерзости? Которые возможны, те допустить, которые же сколь-нибудь противоречат возможности и спутывают нас, — те нужно гнать, как вносящие одно смущение в душу, а смущение известно откуда исходит к нам: оно исходит к

нам прямо снизу. От бога свет, а не смущение. Да притом можно иногда и то себе сказать: точно ли я увидел так, как следует, вещь? Зачем такая гордая уверенность в непреложности и безошибочности взгляда? Все же я человек, а не бог. Выгода этого способа та, что будешь по крайней мере покойнее, если даже и не узнаешь совершенно человека, а сделавшись покойнее, уже проложишь шаг к совершенному его узнанию. Если же к неспокойству нашему да подоспеет на помощь гнев, тогда и всякие зрячие глаза ослепнут. Есть другой способ узнавать людей, гораздо действительнейший первого, но для тебя, по множеству твоих забот и беспрестанному рассеянию твоих мыслей среди тысячи предметов, невозможный. Нужно прожить долгою, погруженною глубоко в себя жизнью. Там обретешь всему разрешение. Света никогда не узнаешь, толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только вначале, чтобы приобресть заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей. Это подтвердят тебе многие святые молчальники, которые говорят согласно, что, поживши такою жизнью, читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы он и скрывал их всячески. Несколько я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать разве карикатурой на такую жизнь. Но, вкусивши одну крупицу такой жизни, я уже вижу ясней; и глаз и ум мой прояснился более (доказательством тому то, что вижу в себе более чем когда-либо прежде, мои недостатки и нахожу их скорее, чем прежде), и несколько раз мне случалось читать на твоем лице то, что ты обо мне думал. Еще есть один способ, которым я руководствуюсь, если бы оба предыдущие не все объяснили мне. Если человек, хотя бы он был последний разбойник, но если этот человек, не плакавший ни пред кем, никому не показавший никогда слез своих, заплакал предо мною и во имя этих душевных слез потребовал веры к себе, — тогда все кончено: я ни глазам своим, ни уму своему, ни чувствам своим не поверю, а поверю всем словам его, произнесенным во имя этих слез. Но почему я так поступлю, этого я не обязан говорить, да и никого не склоняю следовать этому примеру, зная, что трудно отличить душевные слезы от иных слез. Но оставим все способы. А пока, если ты захочешь получше проверить и себя и меня, я тебе советую сделать вот что. У тебя будет

одно такое время, в которое ты будешь иметь возможность прожить созерцательною и погруженною в самого себя жизнью, именно во время говенья. Продли это время, если можно, подолее обыкновенного и займись в это время чтением одних таких книг, которые относятся к душе нашей и обнаруживают ее глубокие тайны. К счастию человечества, такие книги существуют, и было много передовых людей, проживших такою жизнью, которая доныне еще загадка. Книги эти настроят тебя к углублению в себя. Да и что говорить об этом! В такое время сам бог помогает человеку много и просвещает его мысленные взоры.

Скажу еще о последних словах твоего письма. Ты говоришь, что готов снова ругать и любить меня. За первое благодарю тебя душевно, потому что в этом теперь более, нежели когда-либо, слышу надобность, а на второе скажу вот что: любить мы должны всегда, и чем более в человеке дурных сторон и всяких мерзостей, тем, может быть, еще более мы должны <его> любить. Потому что, если среди множества дурных его качеств находится хотя одно хорошее, тогда за это одно хорошее качество можно ухватиться, как за доску, и спасти всего человека от потопления. Но это можно сделать только одною любовью, любовью, очищенною от всего пристрастного. Ибо если подлое чувство гнева хотя на время взнесется над этою любовью, то такая любовь уже бессильна и ничего не сделает. Итак, не будем ничего обещать друг другу, а постараемся безмолвно исполнить все, что следует нам исполнить относительно друг друга, руководствуясь одною любовью к богу, принимая ее как наложенный на нас закон. Ответа и наград будем ожидать от бога, а не от себя, так что, если бы кто-нибудь из нас был неблагодарен, мы не должны даже и замечать этого. Бог не бывает неблагодарен! На таких положениях заключенная любовь или дружба неизменна, вечна и не подвержена колебаниям. А если мы заключим нашу дружбу вследствие каких-либо побуждений наших собственных, хотя бы очень чистых, да вздумаем начертывать друг для друга закон ее действий относительно нас или же требовать какого-либо возмездия за нашу дружбу, то узы такие будут гнилые нитки: черт завтра же посмеется над такою дружбою и напустит такого туману в глаза, что не только другого, но даже и самого себя не разберешь. Все это рассуди и

взвесь хорошенько!

Письмо мое писано в минуту непричастную волнению, — стало быть, и прочесть ты его должен в минуту рассудительную и покойную. В чем я ошибаюсь, то укажи. Затем обнимаю тебя душевно.

Твой *Гоголь*».

С. Т. Аксаков вместе с Шевыревым нашли письмо Гоголя слишком оскорбительным для Погодина и решили его не передавать ему. Об этом решении Аксаков сообщал Гоголю в следующем письме:

***«1843 г. Ноябрь / Декабрь.***

Я получил письмецо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Дюссельдорфа от 2 ноября с приложением письма Погодину. По поручению вашему, мы с Шевыревым прочли его один раз вместе, да предварительно каждый из нас прочел его по нескольку раз. На общем совете мы положили: «Не отдавать письма Погодину до получения от вас ответа». Причины тому следующие: 1) Погодин нездоров и особенно расстроен о чем-то духовно. 2) Нам кажется, что это письмо не успокоит его, а раздражит, следственно не достигнет цели, которую вы, без сомнения, имеете: внесть тишину и спокойствие в его душу. 3) Письмо ваше, как нам кажется, слишком жестоко его поразит в настоящее больное место; а сами вы обвиняете себя в общих выражениях, идущих к каждому человеку: такие обвинения нисколько не облегчают вины Погодина ни в его собственных глазах, ни в наших. Это тяжело. Разумеется, после письма Погодина вы имеете полное право отвечать ему таким же письмом; но здесь дело идет не о том, кто прав. Вот наше мнение; мы решились откровенно высказать его вам. Вероятно, Шевырев напишет большое письмо и полнее изложит вам все, что мы с ним говорили. Я хотел сделать то же; но, вероятно, не сделаю, потому что весьма расстроен: больной наш сильно нас беспокоит. Вы отгадали и должны были отгадать мои отношения с Погодиным. По моей еще не остывшей горячности и живости я много раз на него сердился. К несчастию, будучи слабым христианином, я не мог путем кротости, и смирения, и любви немедленно обезоруживать свой гнев, который вы справедливо браните; но время, рассудок и доброе сердце

успокоивали меня и заставляли одуматься. Известная истина, всегда мною исповедуемая, что «надобно понимать человека, каков он есть, и не требовать от натуры его (разумеется, если в ней много доброго), чего в ней нет», вступала в свои права и усмиряла волнение души моей; но скажу по совести: между нами не может быть истинной дружбы. Можно найти причину его действий, извинить, оправдать их, можно уважать, даже любить этого человека; но дружба требует непременно одинаковости верований в некоторые предметы, одинаковости мнений о человеческом достоинстве. Не желая ничего скрыть в глубине сердца, я скажу вам, что не признаю истинной дружбы и между вами. Этим объясняется все. Нет и не может быть между вами полной веры, без которой нет истинной дружбы. Притом же у вас есть в характере не то что неискренность, не то что неоткровенность (все это неточные выражения), а какое-то недоговаривание таких вещей, которые необходимо должны быть известны друзьям и о которых они нередко узнают стороною. Это ваша особенность, но ею оскорбляются, и сомнение сейчас возникает!.. Скажите, ради бога, может ли вполне понять вас человек, который, по собственным словам вашим, «живет с вами в разных мирах?» Этою последнею мыслью я всегда объяснял Погодину то, чего он беспрестанно в вас не понимал; наконец, он перестал и говорить со мною. Вероятно, и я не понимаю вас вполне; но я по крайней мере понимаю, что нельзя высокую, творческую натуру художника мерить аршином наших полицейских общественных уставов, житейских расчетов и мелочных требований самолюбия. Мы оба с Погодиным недурные люди: но я считаю то святотатством, что Погодин считает делом не только дозволенным, но даже должным. Он всегда готов на доброе дело…»

На этом обрывается сохранившийся отрывок письма Аксакова. Вскоре был получен ответ Гоголя:

***«1844. Ницца. Февраль 10 / Генварь 30.***

Я очень поздно отвечаю на письмо ваше, милый друг мой. Причиной этого было отчасти физическое болезненное расположение, содержавшее дух мой в каком-то бесчувственно-сонном положении, с которым я боролся беспрестанно, желая победить его, и которое

отнимало у меня даже охоту и силу писать письма. Меня успокоивала с этой стороны уверенность, что друзья мои, то есть те, которые верят душе моей, не припишут моего молчания забвению о них. Ваше милое письмо читал я несколько раз: оно мне было так же приятно, как приятны все ваши письма. Все, что ни рассудили вы насчет моего письма к Погодину, я нахожу совершенно благоразумным и справедливым, так же как и ваши собственные мысли обо всем, к тому относящемся. Одно мне только было грустно читать, это то, что ваше собственное душевное расположение неспокойно и тревожно. Я придумывал все средства, какие могли только внушить мне небольшое познание и некоторые внутренние, душевные опыты. И, благословясь, решился послать вам одно средство против душевных тревог, которое мне помогает сильно. Шевырев вручит вам его в виде подарка на Новый год. Хотя он уже давно наступил, но я желал бы, чтобы для всех друзей моих наступил новый душевный год, прекраснейший и лучший всех прежних годов, и чтобы это обстоятельство способствовало именно к тому.

Прощайте, бесценный друг мой. Обнимаю вас и все ваше милое семейство.

Всегда ваш *Г.*

Письма адресуйте во Франкфурт на имя Жуковского. Из Ниццы я выезжаю через неделю от сего числа».

С. Т. Аксакова это письмо ввело в заблуждение: выражения относительно *средства от душевных тревог, посылаемого в виде подарка*, навели его на мысль, что посылается второй том «Мертвых душ». Впоследствии на собственноручной копии с этого письма он надписал: «Конечно, мне теперь самому смешно: как я мог убедить себя, что дело идет о «Мертвых душах»! Но мое ослепление разделяли все наши».

Заблуждение рассеял С. П. Шевырев, которому Гоголь писал по этому поводу 2 февраля 1844 г.:

«Мне кажется, судя по письмам как твоим, так и прочим, что вы все, то есть и ты, и Погодин, и Аксаков, терпите часто душевные беспокойства и тревоги. Они могут быть от разных причин, но могут быть приведены все к одному знаменателю. Я посылаю вам одно

средство, уже мною испытанное, которое, верно, вам поможет уходить чаще в себя, а с тем вместе противиться всем душевным беспокойствам. При письме этом я прилагаю письмо ко всем вам. Ты прочитай его теперь же (прежде один) и купи немедленно во французской лавке четыре миниатюрные экземплярчика «Подражания Христу» для тебя, Погодина, С. Т. Аксакова и Языкова. Ни книжек не отдавай без письма, ни письма без книжек, ибо в письме заключается рецепт употребления самого средства, и притом мне хочется, чтоб это было как бы в виде подарка вам на Новый год, исшедшего из собственных рук моих. Прислать вам отсюда книги нет средств; в конце письма ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и наклей на всяком экземплярчике. Подарок этот сопровожден сильным душевным желанием оказать вам братскую помощь, и потому бог, верно, направит его вам в пользу».

Шевырев передал Сергею Тимофеевичу и письмо Гоголя, адресованное трем: Аксакову, Погодину и Шевыреву.

***«Генварь. 1844-го г. Ницца.***

Поздравляю вас с Новым годом, друзья мои, и от всего сердца желаю вам спокойствия душевного, то есть лучшего, чего мы должны желать друг другу. Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска: она долженствует быть потом еще сильнее. В таких случаях нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет: не пренебрегайте им. Он исшел прямо из душевного опыта, испытан и сопровожден сильным к вам участием. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе, проживите этот час внутреннею, сосредоточенною в себе жизнию. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам «Подражание Христу» не потому, чтобы не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика, — разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Переворотите на все стороны прочитанное, с тем, чтобы, наконец, добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам, именно в том кругу, среди которого вы обращаетесь, в тех именно обстоятельствах, среди которых вы находитесь. Отдалите от себя мысль, что многое тут находящееся относится к монашеской или иной жизни. Если вам так покажется, то, значит, вы еще далеки от настоящего смысла и видите только буквы. Старайтесь проникнуть, как может все это быть применено именно к жизни, среди светского шума и всех тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое. Если даже вы и не увидите скоро от этого пользы, если чрез это остальная часть дня вашего и не сделается покойнее и лучше, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно и с возрастающей силою будем посылать из груди нашей

постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь. Прощайте.

Ваш *Г.*».

Аксаков долго не отвечал Гоголю и 31 марта 1844 г. писал о том сыну Ивану:

> «На сих днях получено еще письмо от Гоголя к нам троим: к Шевыреву, Погодину и мне. Верочка списывает его для тебя. Я виделся еще с Языковым и получил от него два письма Гоголя к нему, которые глубоко проникли в мою душу. Я совершенно растерялся; решительно не знаю, что писать к нему?.. Письма, прежде написанные, я не имею духа послать к нему».

И январское письмо Гоголя, адресованное Аксакову, Погодину и Шевыреву, и его последние письма к Языкову глубоко встревожили Аксакова. Они свидетельствовали о нарастании в Гоголе религиозно-мистических настроений, которых очень опасался Аксаков.

Только в апреле ответил он Гоголю:

> ***«1844. Апреля 17. Москва.***
>
> Другой месяц или почти два, как я нахожусь в беспрестанном волнении; всякий день сбирался писать к вам, милый друг Николай Васильевич; несколько раз начинал и не мог кончить… в таком беспрестанном противоречии находился и теперь нахожусь я сам с собою. Говорят, что в каждом человеке находится два человека; не знаю, правда ли это, но во мне — решительно два; один из них сидит на другом верхом, совсем задавил его, но тот еще не умер.
>
> Письмо ваше от 10 февраля (30 января старого стиля) из Ниццы ввело меня в странное заблуждение, из которого выйти было мне не только досадно, но и прискорбно. Представьте себе, что некоторые выражения в вашем письме относительно «средства от душевных тревог, посылаемого в виде подарка..» и пр. навели глупую мою голову на мысль, что вы посылаете нам второй том «Мертвых душ», обещанный через два года.
>
> Все то, что в письме вашем, при чтении его теперь, разрушает очарование, истолковано мною было тогда в пользу моего страстного желания. Ошибку мою разделяли со мною и мои домашние. На другой день

скачу к Шевыреву и не застаю его; наконец, в другой раз нахожу его дома… С первых слов разбил он с громким смехом мой кумир. Я был огорчен до глубины души, даже рассержен. Я думал помолиться, наслаждаясь созданием искусства, и вдруг… Друг мой, ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. Я хорошо понимаю, что это не мешает вам видеть то, чего я не видел; но я тогда также был молодым человеком, с живым чувством, с свежею, легко понимающею головою и сильным стремлением в мир духовный. Я много перемыслил, перечувствовал, принимал, отвергал, сомневался и, по прошествии немалого времени, переболев душою и духом, наконец дал себе ответы на многие вопросы; ответы, может быть, неполные, неудовлетворительные, но такие по крайней мере, которые восстановили тишину и спокойствие в возмущенной душе моей, и я сдал это дело в архив. Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму… И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки… И смешно и досадно… И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас… Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы… Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника. Это вполне искренние слова сидящего верхом человека. Таков я всегда; но вот вам я, каким бываю уже редко. В одну из таких минут я записал для вас свои собственные мысли и чувства.

Вижу, как жалки и ничтожны все мои выражения, не имеющие даже достоинства искренности. Нет, я не рожден ни слепым, ни глухим. Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли,

легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека. Вы соединяете это стремление с теплою верою, но и другим путем можно стремиться к той же цели. Разумеется, так гораздо легче: «Не верю тому, чего не знаю, и не размышляю о том, чего не понимаю». Это даже и хорошо, если искренно. Но у меня это была ложь. Я надувал сам себя, чтоб жить спустя рукава. Я добровольно кидался в толпу непризванных, я наклепывал на себя их пошлость и таким образом отделывался от трудных подвигов разумной жизни. Я уже думал прожить так целый век; но нашелся человек, близкий моему сердцу сам по себе и драгоценный мне как великий художник. Он стал передо мной, лицом к лицу, поднял со дна души давно заброшенные мысли и говорит: *«Пойдем вместе! Я вот что делаю с собой. Помоги мне, а я потом помогу тебе»*. Хотел было поступить по-русски: *«Знать не знаю и ведать не ведаю»* … Но стало стыдно. Недолго звенят во мне слишком долго не бранные струны; я рад тому: их сотрясение болезненно. Около них нет простора. Они заплыли всякой дрянью, которая вошла в состав моего организма… Мне больно, когда ее трогают.

Вот вам, милый друг, истинное состояние моей души. О том уже поздно. Оставим это дело навсегда. Прилагаю вам два письма. Одно из них огорчит вас сильно, но с горячею верою близко утешение. Наша больная все в том же страдательном положении.

Обнимаю вас очень крепко. Мы сошлись с Языковым. Все мои вас обнимают.

Ваш друг *С. Аксаков»*.

На это письмо Гоголь дал следующий ответ:

***«16 мая 1844. Франкфурт.***

Я получил ваше милое и откровенное письмо. Прочитавши его, я мысленно вас обнял и поцеловал, а потом засмеялся. В письме вашем слышно, что вы боитесь, чтобы я не сел на вас верхом, и упираетесь, как Федор Николаевич Глинка, когда к нему подходят с тем, чтобы обнять его. Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего

приятеля, всем известного, именно — черта. Но вы не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья. Из чего вы вообразили, что вам нужно пробуждаться или повести другую жизнь? Ваша жизнь, слава богу, так безукоризненна, прекрасна и благородна, как дай бог всем подобную. Вы сделали много такого добра и таких услуг (что и мне отчасти известно), которые стоят многих копеек, разбросанных нищим, и будут оценены справедливо; ваша жизнь ни в чем не противуположна христианской. Один упрек вам следует сделать — в излишестве страстного увлеченья во всем: как в самой дружеской привязанности и сношениях ваших, так и во всем благородном и прекрасном, что ни исходит от вас. Итак, глядите твердо вперед и не смущайтесь тем, если в жизни вашей есть пустые и бездейственные годы. Отдохновенье нам нужно. Такие годы бывают в жизни всех людей, хотя бы они были самые святые. А если вы отыскиваете в себе какие-нибудь гадости, то этим следует не то чтобы смущаться, а благодарить бога за то, что они в нас есть. Не будь в нас этих гадостей, мы бы занеслись бог знает как и гордость наша заставила бы нас наделать множество гадостей несравненно важнейших. Без них не было бы у вас и этого прекрасного смиренья, которое составляет первую красоту души.

Итак, ваше волнение есть просто дело черта. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана, а в самом деле он *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а бог ему и над свиньей не дал власти*. Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом подъедет с другой стороны, в другом виде — нельзя ли как-нибудь привести в уныние; шепчет: «Смотри, как у тебя много мерзости, пробуждайся!» — когда незачем и пробуждаться, потому что не спишь, а просто не видишь его одного. Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело. Он очень знает, что богу не люб

человек унывающий, пугающийся, словом — неверующий в его небесную любовь и милость, вот и все. Вам бы следовало просто, не глядя на него, выполнить буквально предписанье, руководствуясь только тем, что дареному коню в зубы не глядят. Вы бы, может быть, нашли там только подтверждение тому, чему вы веруете и что в вас есть, и только установилось бы все яснее и утвердительнее на своих местах, воцарив чрез то строгий порядок в самую душу.

О себе скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. Недоразуменья произошли оттого, что я слишком рано вздумал было говорить о том, что слишком ясно было мне и чего я не в силах был выразить глупыми и темными речами, в чем сильно раскаиваюсь даже и за печатные места. Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных, не переходил из одного положения в другое и, если встречал на дороге что-нибудь сомнительное, не останавливался и не ломал голову, а махнувши рукой и сказавши: «объяснится потом», шел далее своей дорогой; и точно, бог помогал мне, и все потом объяснялось само собой. И теперь я могу сказать, что в существе своем все тот же, хотя, может быть, избавился только от многого, мешавшего мне на моем пути, и, стало быть, чрез то сделался несколько умней, вижу ясней многие вещи и называю их прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма a la Байрон и знаю, что он ходит во фраке из <.....> и что на его гордость стоит вы<...>ться вот и все.

Спросите у Языкова, послал ли он книги мне и с кем именно? Я еще не получал, а между тем он мне обещал следущие: 1) «Добротолюбие», 2) Летописи, 3) Иннокентия и 4) сочинения святых отцов. Теперь, без сомнения, удобно послать, потому что из Москвы весной подымется много за границу. Да попрошу вас, если нельзя прислать «Москвитянина» всего за прошлый 1843, то хотя критики Шевырева а Михаилу Семеновичу скажите, что он *надуватель*, а деткам его скажите, что *яблоко от яблони недалеко падает*. Он сам вызвался доставить мне критики Сенковского и невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества». Времени

было довольно, а случая и оказии для пересылки не нужно, потому что, писавши на тонкой бумаге, можно было легко послать во всякое время, разделив на два или на три письма, как я делаю с моим статьями, гораздо побольшими, которые ему же пригодились в бенефис. Он меня привел в неприятное и затруднительное положение писать к Сенковскому и просить его о присылке статей, потому что во многих вещах на близких людей никак нельзя полагаться и лучше писать к первому незнакомому лицу. Незнакомому человеку бывает иногда совестно показать себя в первый раз ненадежным человеком, а приятелям никогда не бывает совестно пустить дело в затяжку.

Прилагаемое письмо прошу вас доставить Надежде Николаевне. В нем содержится объяснение насчет одного слуха, распущенного обо мне в Москве. Объяснения об этом предмете я б не сделал никому, потому что ленив на подобные вещи, но так как она прямо и бесхитростно сделала мне запрос, то мне показалось совестно не дать ей ответа. А с вами о сем тратить слов не следует. Вы *человек-небаба. Человек-небаба* верит более самому *человеку*, чем *слуху о человеке*; а *человек-баба* верит более слуху о человеке, чем самому человеку. Впрочем, вы не загордитесь тем, что вы *человек-небаба*. Тут вашей заслуги никакой нет, ниж*е* приобретения: так бог велел, чтоб вы были *человек-небаба*. Не унижайте также *человека-бабу*, потому что *человек-баба* может быть, кроме этого свойства, даже совершеннейшим человеком и иметь много таких свойств, которых не удастся приобрести *человеку-небабе*. Друг наш Погодин есть *человек-баба* — не потому, чтобы он вел не такую жизнь, как следует, или не имел твердости или характера, но потому, что иногда вдруг понесет от него бабьей юбкой. Это можно даже довесть до сведения его, потому что между нами должно быть отныне все просто и откровенно. Михаил Семенович, например, но он вовсе не *человек-баба* … он небаба, но он оказался человек — <….> по поводу упомянутого ниже дела. Константин Сергеевич, например… но об этих господах не следует говорить: они совершенно в *руцебудущего*. В русской природе то по крайней мере хорошо, что если немец, например, *человек-баба*, то он останется *человек-баба* на веки веков. Но русский человек может иногда вдруг превратиться в *человека-небабу*. Выходит он из бабства

тогда, когда торжественно, в виду всех, скажет, что он больше ничего, как *человек-баба*, и сим только поступает в рыцарство, скидает с себя при всех бабью юбку и одевается в панталоны.

Ваш *Г.*

Адрес — во Франкфурте.

Обнимаю от всей души весь ваш дом!»

В октябре того же года Гоголь спрашивал Н. М. Языкова в письме к нему из Франкфурта: «Спроси Аксаковых, зачем ни один из них не пишет ко мне?» — а самому С. Т. писал:

***«12 ноября <1844>.***

Письмо за вами, бесценный друг мой Сергей Тимофеевич. Вы не дали мне ответа на то, которое я писал к вам назад тому четыре месяца, где посылал весьма справедливый выговор Щепкину за то, что он надул меня, то есть вызвался сам вперед и отважно вместе с сыновьями доставить мне просимые мною критики и потом вместе с ними попятился на попятный двор. Я даже не знаю, как писать к вам, и дожидался от вас адреса, и до сих пор не знаю, где вы живете и куда следует адресовать вам. Итак, уведомьте меня как о вашем здоровье, так и о здоровье Ольги Семеновны, Константина Сергеевича и всего вашего милого семейства, и почему именно последовало такое долгое забвение? Я, видите, терпелив и долго иногда не спрашиваю, почему иные совсем не пишут и не шлют даже поклона. Потом уведомьте, как вы провели все время лета и каково состояние вашей больной. И, словом, уведомьте обо всем. А пока вас обнимаю от всей души и жду вашего ответа.

Ваш *Гоголь*».

Еще до получения этого письма Аксаков писал Гоголю:

***«Ноября 16 1844 года.***

Очень, очень давно не писал я вам, любезный друг Николай Васильевич… Да если б я десять лет не писал к вам, то все никто бы не заподозрил меня в забвении вас. На бумаге не то, что на словах: многого не скажешь, да и сказать нельзя. Давно поизносились фразы, за недостатком истины, в смысле: «страждущее сердце

облегчит свою горесть, переливая ее в сердце друга». Во-первых, все горести что переливать, то хуже: только что мутить начинавший отстаиваться зловредный напиток. Во-вторых, что за облегчение возмущать спокойствие друга, разумеется отсутствующего? Конечно, когда друзья живут вместе и один видит и знает, что другой страдает, тогда излияние — необходимость.

Даже не помню, когда я писал… Знаю только, что я не отвечал на письмо ваше, которым не совсем был доволен: это был ваш ответ на мое горячее письмо, вылившееся из глубины души. Вы, конечно, не подумаете, что ваше письмо было причиной моего долговременного молчания. Совсем нет. Конечно, я не отвечал на него немедленно по неудобству переписки такого рода; но впоследствии это не помешало бы мне писать. Ничего не может быть суетливее, скучнее и огорчительнее того образа жизни, который вел я с 9 мая по 6 октября. Больная моя жила в Петровском парке, а остальное семейство в подмосковной; мы с Ольгой Семеновной скакали то туда, то сюда, ничуть не обретая спокойствия; в разлуке с больной — всего менее. Наконец, 5 октября переехали в Москву (в Газетный переулок, в дом княгини Шаховской). Болезнь часто меняла свою физиономию, а потому часто сменялись страх и надежда. Даже и теперь не знаю, что сказать вам! Если взглянуть на все простыми глазами, то дело находится в отчаянном положении: больная уже два месяца не встает с постели, худоба неимоверная, и ноги в сильной и болезненной опухоли. Но доктора называют эту опухоль критическою и видят много добрых признаков. Конечно, эта опухоль не прежняя, водянистая опухоль; больная получила аппетит, и пищеварение хорошо; очевидно, что натура силится открыть давно закрытые пути; борьба несомненна, но выдержит ли изнуренный, ослабленный организм эту борьбу? Вот важный вопрос… Мой рассудок не допускает меня предаваться надеждам.

Я думаю, вы уже знаете о несчастии бедного Погодина… Слов недостает, чтоб выразить мое сожаление о нем, и нет их, чтоб сказать ему что-нибудь утешительное; но он, по счастию, истинный христианин и покуда переносит великодушно тяжкое испытание. Жена вчера была у него, а я уже несколько дней не видал его: два раза не застал дома.

В продолжение нашего взаимного молчания я кое-что слышал по временам об вас: то от Языкова, то от Шереметевой, то от Шевырева; но все грешно вам, что вы ко мне не писали. Никакие обстоятельства не лишают меня потребности знать об вас. Итак, напишите мне все: что ваше здоровье, что ваш труд? Мы остальные все здоровы. Костя переписывает набело свою диссертацию; Иван возвращается с ревизии из Астрахани, где он действовал с неожиданным, изумительным даже для меня, достоинством мужа, а не юноши; Гриша служит товарищем председателя Гражданской палаты во Владимире и хотя не изумляет меня, но утешает более Ивана… Вот вам все в кратких словах, милый друг мой… Кругом меня валятся, как снопы, мои сверстники, товарищи, приятели (вы знаете о Княжевиче?). Не хотелось бы мне свалиться, не обнявши крепко вас. Делаю это заочно. Прощайте, мой друг.

Ваш С. *Аксаков*.

Все мои вас обнимают».

До того, как прибыл ответ на это письмо, Аксаков получил вместе с Шевыревым поручение от Гоголя насчет благотворения бедным студентам. 14 декабря 1844 г. Гоголь писал в этой связи Шевыреву:

«Дело это должно остаться только между тобою и Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Ты можешь сказать им, что деньги от одного богатого человека или правительственного сановника, который хочет остаться в неизвестности. Никто из вас никому даже в своем доме, как бы он близок к нему ни был, не должен этого открывать никогда и ни в каком случае. На все расспросы других давайте один ответ, что деньги идут мне и я получаю их в исправности. Я также не должен узнать, кому, как и когда идут эти деньги. Отчет в них и ответ принадлежит богу. И потому смотреть на это дело как на святое и употребить с своей стороны все силы к тому, чтобы всякая копейка обратилась во благо. Настоящие благодеяния будут принадлежать вам, более всего тебе, потому что все здесь зависит от умных распоряжений. Пословица говорит: «Не штука дело,

штука разум». Это вы прочитайте вместе с Аксаковым. И никаких против этого возражений или представлений! Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что *воля друга должна быть священна*; и на это мое требованье, которое с тем вместе есть и моленье и желанье, вы должны ответить только одним словом: *Да*».

Вскоре прибыл и ответ Гоголя С. Т. Аксакову на его ноябрьское письмо.

***«Франкфурт. Декабря 21 <1844>.***

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой. Между многими причинами вашего молчания, с которыми почти со всеми я согласен, зная сам, как трудно вдруг заговорить, когда не знаешь даже, с которого конца прежде начать, одна мне показалась такою, которую я бы никак не допустил в дело и никак бы не уважил, именно — что состояние грустное души уже потому не должно быть передаваемо, что может возмутить спокойствие отсутствующего друга. Но для чего же тогда и друг? Он именно и дается нам для трудных минут, а в минуты веселые и всякий человек может быть для нас хорош. Бог весть, может быть, именно в такие минуты я бы и пригодился. Что я написал глуповатое письмо, это ничего не значит: письмо было писано в сырую погоду, когда я и сам был в состоянии полухандры, в сером расположении духа, что, как известно, еще глупее черного, и когда мне показалось, что и вы тоже находитесь в состоянии полухандры. Желая ободрить и вас и с тем вместе себя, я попал в фальшивую ноту, взял неверно и заметил это уже по отправлении письма. Впрочем, вы не смущайтесь, если б даже и десять получили глуповатых писем (на такие письма человек, как известно, всегда горазд); иногда между ними попадется и умное. Да и глупые письма, даром что они глупы, а их иногда бывает полезно прочесть и другой и третий раз, чтобы видеть, каким образом человек, хотевши сделать умную вещь, сделал глупость. А потому о ваших грустных минутах вы прежде всего мне говорите, ставьте их всегда вперед всяких других новостей и помните только, что никак

нельзя сказать вперед, чтобы такой-то человек не мог сказать утешительного слова, хотя бы он был и вовсе не умный. Много уже значит хотеть сказать утешительное слово, и если с подобным искренним желанием сердца придет и глуповатый к страждущему, то ему стоит только разинуть рот, а помогает уже бог и превращает тут же слово бессильное в сильное.

Вы меня известили вдруг о разных утратах. Прежде утраты меня поражали больше; теперь, слава богу, меньше: во-первых, потому, что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых, потому, что некогда и грустить: жизнь так коротка, работы вокруг так много, что дай бог поскорей запастись сколько-нибудь тем в этой жизни, без чего нельзя явиться в будущую. А потому поблагодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем богу за все спасибо, а сами за дело! Известием о смерти Е. В. Погодиной я опечалился только вначале, но потом воссветлел духом, когда узнал, что Погодин перенес великодушно и твердо, как христианин, такую утрату. Такой подвиг есть краса человеческих подвигов, и бог, верно, наградил его за это такими высокими благами, какие редко удается вкушать на земле человеку.

Обратимся же от Погодина, который подал нам всем такой прекрасный пример, и к прочим живущим. Вы меня очень порадовали благоприятными известиями о ваших сыновьях. Они все люди, созданные на дело, и принесут очень много добра, если при уме и при всех данных им больших способностях будут *сметливы*, то есть если заблаговременно и пораньше будут уметь смекнуть то, что следует смекнуть. Если Константин Сергеевич смекнет, что диссертацию, вместо того чтобы переписывать набело, следует просто положить под спуд на несколько лет, а вместо ее заняться другим; если он смекнет с тем вместе, что тот совет, в котором сходятся люди даже различных свойств и мнений, есть уже совет божий, а не людской и, стало быть, его нужно послушаться. Ему все до единого, начиная от Погодина до меня, говорили, чтобы занялся делом филологическим, для которого бог его наградил великими и очевидными для всех способностями. Он один может у нас совершить словарь русского языка такой, какого не совершит ни одна академия со всеми

своими членами; но этого он пока не смекает. Еще также не смекает он до сих пор, что у него слишком велика замашка и слишком горячий прием к делу. Чрез это дело у него само собой выходит не в *ясном*, а в *пристрастном* виде, хотя он хотел быть ясным, а не пристрастным. Чрез это у него одежда, в которую он одевает мысль, не только не прозрачна, но даже не по ней. Это ощутительней оказывается у него в письме и на бумаге; тут иногда мысли то же, что короткие ноги в больших сапогах, так что формы самой ноги-то не видишь, а становится только смешно, что на ней большой сапог. Еще Константин Сергеевич не смекает, что в эту пору лет, в какой он <находится>, не следует вовсе заботиться о логической последовательности всякого рода развитий. Для этого нужно быть или вовсе старику, или вовсе немцу, у которого бы в жилах текла картофельная кровь, а не та горячая и живая, как у русского человека. Поэтому-то у него оказывается в статьях одна претензия на логическую последовательность, а самой ее нет. Живая душа, русское сердце и нерасчетливая молодость пробиваются на всяком шагу, и чрез это еще сильней становится противуположность двух несоединенных вещей. Чрез это самый тон слога неверен, фальшив, не имеет никакой собственной личности и не служит орудием к выраженью того, что хотел писатель им выразить. Черты ребячества и черты собачьей старости будут в нем попадаться беспрестанно одни подле других и будут служить вечным предметом насмешек журналистов, насмешек глупых, но в основании справедливых. Если Константин Сергеевич сколько-нибудь верит тому, что я могу иногда слышать природу человека и знаю сколько-нибудь закон состояний, переходов, перемен и движений в душе человеческой, как наблюдавший пристально даже за своей собственной душою, что вообще редко делается другими, то да последует он хотя раз моему совету и именно следующему: не думать два-три года о полноте, целости и постепенном логическом развитии идей в статьях своих больших, какие случится писать ему. Поверьте, это не дается в такие годы и в такой поре душевного состояния. У него отразится повсюду только одно неясное стремление к ним, а их самих не будет.

Живой пример ему я. Я старее годами, умею более себя обуздывать, а при всем том сколько я натворил

глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было, хотя мне и казалось, что я очень уже созрел; и над многими местами в моих сочинениях, которые даже были похвалены одними, другие очень справедливо посмеялись. Там есть очень много того, что похоже на короткую ногу в большом сапоге; а всего смешней в них претензии на то, чего в них, покамест, нет.

Итак, да прислушается Константин Сергеевич к моему совету. Это не совет, а скорее братское увещание человека уже искусившегося и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею собственною бедою, обратив ее не в беду, а в пользу другому. Теперь «Москвитянин», как я слышал, перешел к Ивану Васильевичу Киреевскому. Вероятно, это возбудит во многих рвение к трудам. Константин Сергеевич может множество приготовить прекрасных филологических статей. Они будут интересны для всех. Это я могу сказать вперед, потому что я сам слушал с большим удовольствием, когда он изъяснял мне производство многих слов. Но нужно, чтобы они писаны были слишком просто и в таком же порядке, как у него выходили изустно в разговоре, без всякой мысли о том, чтобы дать им целость и полноту. То и другое выльется само собою гораздо удовлетворительнее, чем тогда, если бы он о них думал. Он должен только заботиться о том, чтобы статья была как можно короче. Русский ум не любит, когда ему изъясняют что-нибудь слишком долго. Статья его чем короче и сжатей, тем будет занимательней. Не брать вначале больших филологических вопросов, то есть таких, в которых было бы разветвление «а многие другие, но раздробить их на отдельные вопросы, которые бы имели в себе неразделяемую целость, и заняться каждым отдельно, взяв его в предмет статьи; словом, как делал Пушкин, который, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: *Русская изба*, а на другом: *Державин*, на третьем — имя тоже какого-нибудь замечательного предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что

у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. (Из этих записок многие, еще интереснейшие, не напечатаны, потому что относились к современным лицам.) Таким образом и Константин Сергеевич да напишет себе на бумажке всякое русское замечательное слово и потом тут же кратко и ясно его производство, и отдаст ее Ивану Васильевичу Киреевскому. Журналист будет доволен, публика возбудится любопытством к предмету, для нее новому и незнакомому, а Константин Сергеевич покажет, наконец, себя и скажет мне за это спасибо; ибо, как ни посмотрю, приходилось мне, а не кому-либо другому, натолкнуть его на дело. «Чем ушибся, тем и лечись», говорится; а так как он опозорился в глазах света на мне (написавши статью о «Мертвых душах»), то мною же должен быть подтолкнут на прославление в глазах того же света.

Но вот беда: у Константина Сергеевича нет вовсе слога. Все, о чем ни выражается он ясно на словах, выходит у него темно, когда напишется на бумаге. Если бы он был в силах схватить тот склад речи, который выражается у него в разговоре, он был бы жив и силен в письме, стало быть имел бы непременно читателей и почитателей. Но это ему менее возможно, чем кому-либо другому. Искусство следить за собой, ловить и поймать самого себя редко кому удается. А слог все-таки ему нужно приобресть; ему нужно непременно спуститься хотя двумя ступенями ниже с той педантской книжности, которая у нас образовалась и беспрестанно мешается с живыми и непедантскими словами. Есть один только для него способ, и если Константин Сергеевич точно так умен, как я думаю, то он его не бросит. Что бы он ни написал, ему следует перед тем, как он принимается за перо, вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых, живо представит себе его ум, способности, степень понятливости и развития и говорит, соображаясь со всем этим и снисходя к нему, — слово его непременно будет

яснее. Чем он возьмет менее понятливого человека, чем этот человек будет менее сведущ, тем он более выиграет. Лучше всего, если он посадит вместо публики маленькую свою сестрицу и станет ей рассказывать (это особенно будет полезно в филологических статьях и производствах слов, которые требуют необыкновенной ясности слога), и если он сумеет так рассказать или написать, что, во время чтения, маленькой его сестрице не будет скучно и все понятно, тогда смело можно печатать статью: она понравится всем: старикам, гегелистам, щелкоперам, дамам, профессорам, учителям, и всякий подумает, что писано для него. Притом зная, что пишет маленькой сестрице, Константин Сергеевич никак не зарапортуется, и если бы случилось ему написать производство слов: муж и жена (что он производит очень умно, я бы его прямо списал с его слов), он бы удержался в одних филологических границах, тогда как, если бы села на место маленькой сестрицы хоть, положим, Ховрина или кто другой, брошен бы был вдруг религиозный взгляд на брак и на высшее значение его — дело, конечно, тоже в своем роде умное, но годное для другой статьи. Словом, этот способ я предлагал Константину Сергеевичу как самый действительный, как бы он ни показался ему с виду ничтожным и незначащим. Я браню себя за свою недогадливость и глупость, что не хватился за него пораньше; я бы гораздо больше сказал дела и даже больше бы написал. Этот пустяк слишком важная вещь: только от нее приобретается слог и получается физиогномия слога. Это уже давно было сказано на свете, что слог у писателя образуется тогда, когда он знает хорошо того, кому пишет. Но если Константин Сергеевич будет *сметлив*, то принесет много добра, в чем помоги ему бог. Прочие ваши сыновья, если будут сметливы, то принесут тоже много добра. Жаль, что вы мне не описали, каким образом подвизался на ревизии Иван Сергеевич, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренно обрадовался вашему прибавлению: *«с достоинством мужа»*. Но все-таки скажите и Ивану Сергеевичу, что если он будет *сметлив* и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого — и невинные и даже виноватые, и честные и взяточники — будут им довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные были

довольны. В теперешнее время нужно слишком много разбирать и рассматривать взяточников; иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно, если сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах как семейных, так и всяких других; если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам скажет спасибо, — и он сделает много добра. Если Иван Сергеевич смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать *умирительно* еще действительней, чем *распекательно*, и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, — словом, если он все это смекнет, то *наделает много добра*. Если Григорий Сергеевич смекнет все, что нужно смекнуть в городе Владимире, то наделает также много добра. Если узнает не только самую палату, но и весь Владимир, и не только весь Владимир, но даже источники всех рек, текущих со всех сторон губернии в палату; если не пропустит никого из умных и старых чиновников и расспросит их обо всем и будет *уметь расспросить* обо всем, да не пренебрежет тоже и глупых чиновников, узнает и об них что следует, да тоже и людей посторонних приберет, даже и купцов и мещан, и узнает таким образом и то, кто кого водит за нос, кто кого просто дурачит и, наконец, кто на кого или имеет, или может иметь влияние, — то наделает он много добра не только во Владимире, но даже и потом, где ему ни случится и на каком месте ему ни случится быть. Да и Ивану Сергеевичу тоже не мешает вам, с своей стороны, обратить внимание на эти самые пункты.

Засим да будет это письмо вам поздравлением на Новый год, который стоит уже перед нами, — вам, вместе с любезною вашею супругой, в сопровождении желания искреннего иметь полное утешение от ваших деток, а сыновьям вашим (ибо женский пол не наше дело) тоже поздравленье, с желаньем искренним доставить вам это полное утешение; ибо письмо собственно для них было писано. А всем вместе желаю

искренно — приносить на всяком месте бытия пользу, побольше узнавать, расспрашивать и входить всем в положение всякого страждущего и помогать ему утешительным словом и советом (деньги же есть мертвая помощь, и помочь ими еще немного значит: они почти всегда играют ту же роль, что жидкость, лиемая в бездонную бочку).

Затем скажу аминь и попрошу вас узнать: во-первых, от Киреевского Ивана Васильевича, получил он от Жуковского стихотворную повесть, которую тот послал два дни тому назад, на имя Булгакова вместе с большим письмом Авдотье Петровне об «Одиссее»? во-вторых, получил ли Шевырев мое письмо от 14 декабря, в котором, между прочим, небольшое улучшение относительно дел по книге и ее продаже, о чем он должен вам сообщить? в-третьих, получил ли письмо Языков в ответ на присланную мне от кн. Вяземского книжечку его стихотворений? в-четвертых, получил ли Погодин письмо, отправленное в одно время с вашим, хотя и написанное прежде (вам следует с ним видеться почаще; вы можете быть ему полезны во многом вашею беседою)? в-пятых, что делает мною постыднейшим образом обруганный и неисправнейший из всех доселе существовавших смертных, Михаил Семенович Щепкин? которых всех, при этой верной оказии, поздравьте от всей моей души с Новым годом.

Затем прощайте до вашего ответа на это письмо.

Ваш *Гоголь*.

Напишите мне все о Погодине: как идет теперь его жизнь, каково его состояние души и вообще каковы его перемены во всем?»

За 1844 год сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны Аксаковой к М. Г. Карташевской:

«Не так давно получено от него <Гоголя> большое письмо, состоящее большею частью из советов братьям, чем им и как заниматься. Многое очень справедливо. Он здоров и, кажется, довольно бодр, но работа его до сих пор шла очень медленно, и он сам пишет, что труд его продолжится гораздо долее, нежели он ожидал. Это досадно, когда еще выйдет вторая часть…»

В первые месяцы следующего, 1845 года не было переписки:

Аксаков заболел. Лишь 10 марта этого года датировано его письмо к Гоголю:

> «Давно я не писал к вам, милый мой друг Николай Васильевич, и сам давно не получал от вас писем. В продолжение этого времени «много утекло воды», как говорит русская пословица. Кажется, я и прежде писал к вам, что начинаю худо видеть левым глазом; это худо все идет хуже. Один глаз — так и быть! Я дожил бы век с правым глазом, но вот беда: в нем уже начинаются те же явления, какие предшествовали помрачению левого!.. Делать нечего, обратился я к гг. докторам и — и тут увидел все их невежество, по крайней мере здесь, теперь, по части глазных болезней!.. Назад тому две недели многие говорили не то, что теперь; Альфонский находит, что катаракт начался на обоих глазах. Ради бога просит не лечиться и не мучить себя по-пустому, ибо ничто не может остановить хода болезни. Броссе ничего не находит покуда, а Иноземцев грозит такой слепотой, которая хуже темной воды, и пр. и пр. Но все согласны (кроме Альфонского), что нужно кровопускание, пиявки, мушки, фонтанели, слабительные, диета… Всю эту мерзость я уже испытываю на себе другой месяц… Не видя пользы, я решился отдохнуть и теперь пятый день лечусь — гомеопатией у Хомякова… Разумеется, я не верил ей, но первые приемы сначала оказали сильное действие на припадок мой, происходящий от неправильного кровообращения. Как знать, чудес на свете много. Может быть, и глазам моим будет лучше!.. Как истинному другу, должен я вам признаться, что я нехорошо встречаю мою страшную беду. Если нет христианского смирения и покорности воле божией, то есть человеческое достоинство, твердость, спокойствие духа — я не могу ими похвалиться. Покуда я — гнев, ропот и волненье.
>
> Вероятно, вы, милый друг, не станете более получать от меня собственноручных писем. Я иным уже не пишу их. Пусть эти строки напоминают вам последние усилия моего зрения. Обнимаю вас крепко.
>
> Ваш С. *Аксаков*».

До получения известия о болезни Аксакова Гоголь спрашивал у Н. М. Языкова в письме от 5 апреля 1845 года:

> «Узнай также от Константина Сергеевича, получил

ли Сергей Тимофеевич от меня письмо с некоторым поученьем сыновьям его, в числе которых и ему, то есть Константину Сергеевичу, — и что он думает о сем?»

Через Языкова Гоголь в это время часто справлялся об С. Т. Аксакове; некоторые записки ему прилагал прямо в своих письмах к Языкову. Вот одна из них, написанная в ответ на извещение о том, что Аксаков теряет зрение:

***«Франкфурт. 2 мая <1845>.***

И вы больны, и я болен. Покоримся же тому, кто лучше знает, что нам нужно и что для нас лучше, и помолимся ему же о том, чтобы помог нам уметь ему покориться. Вспомним только одно то, что в его власти *все* и *все* ему *возможно*. Возможно все отнять у нас, что считаем мы лучшим, и в награду за то дать лучшее нам всего того, чем мы дотоле владели. Отнимая мудрость *земную*, дает он мудрость *небесную*; отнимая зренье *чувственное*, дает зренье *духовное*, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные; отнимая *временную*, ничтожную жизнь, дает нам жизнь *вечную*, которая перед временной то же, что *все* перед *ничто*. Вот что мы должны ежеминутно говорить друг другу. Мы, еще доселе не привыкнувшие к вечному закону действий, который совершается для всех непреложно в мире, желающие для себя непрерывных исключений, мы, малодушные, способны позабывать на всяком шагу то, что должны вечно помнить, наконец, мы, не имеющие даже благородства духа вериться тому, кто стоит того, чтобы на него положиться. Простому человеку мы даже вверяемся, который даже нам не показал и знаков достаточных для доверия, а тому, кто окружил нас вечными свидетельствами любви своей, тому только не верим, взвешивая подозрительно всякое его слово. Вот что мы должны говорить ежеминутно друг другу, о чем я вам теперь напоминаю и о чем вы мне напоминайте. Затем обнимаю вас от всей души и прошу вас вместо меня обнять ваше семейство. Напишите мне, куда едете или остаетесь в Москве, и что делают ваши дети; если можно — порознь о каждом. Если вам писать трудно, прошу Ольгу Семеновну. Прощайте. Бог да хранит вас.

Ваш *Г.*».

Аксаков отвечал письмом, писанным собственноручно, но уж

не прежним твердым почерком.

***«1845, мая 24, Москва.***

Я получил последнее письмецо ваше через Языкова, милый друг Николай Васильевич! Все ваши слова справедливы, но… надобно иметь сердце, исполненное теплой веры и преданности воле божией безусловно, чтоб находить отраду, например, в самой мысли: что значит потеря зрения телесного, когда человеку откроется зрение духовное! Я не спорю, что это истина и что в ней можно найти отраду; но когда? Тогда, без сомнения, когда человек внешний, телесный преобразится в человека внутреннего, духовного. Я еще далек от этого преображения, да и не знаю, буду ли когда-нибудь его достоин, и потому откровенно скажу вам, что мне даже досадно было читать ваше письмо… Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил… Я — человек, и потому хотел человеческого огорчения, ропота… Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..

Мы все еще живем в Москве и даже не знаем, когда и куда уедем. Переезд в деревню, куда намеревались перенесть нашу больную на руках в портшезе, кажется мне самому несбыточным. В то же время родилось у нас убеждение (происшедшее от слов одной ясновидящей, даже двух), что гомеопатия может помочь нашей больной и что надобно ее испытать. Для этого нужно жить в Москве или на даче, в самом близком от Москвы расстоянии. Дач теперь уже нет свободных, да и средств нет это исполнить; не говорю уже о том, что я не могу без горести подумать о разделении семейства, подобно прошлогоднему. Оставаться же на некоторое время в Москве на теперешней квартире невозможно по многим причинам: здесь летом слишком шумно и душно.

Киреевский отказался от «Москвитянина» также по многим уважительным причинам. Во-первых, Киреевский не создан от бога, чтоб быть издателем журнала. Это такой чудак в действительной жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вторых, никакой порядочный человек не может иметь денежных сношений с Погодиным. В-третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сделался болен. Довольно этих трех

причин. До сих пор идут толки о выборе нового редактора, но все это вздор. Дело кончится тем, что Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество для всех врагов наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесет удар возникающему чувству национальности! Но теперь наступает лето, все наши краснобаи разъедутся по деревням, и здесь хоть трава не расти!

Ваше нездоровье, и душевное и телесное, нас сердечно огорчает. Не знаю, где найдет вас это письмо, посылаемое с одним из товарищей моего сына, Погуляевым. Мой Иван посылает вам две свои стихотворные пиесы. Напишите о них правду. Не бойтесь оскорбить самолюбие молодого человека. Обнимаю вас крепко. Семейство мое делает то же. Разумеется, 9 мая мы выпили за ваше здоровье. Адрес мой на имя Томашевского, в почтамте.

Весь ваш С. *Аксаков*».

Гоголь, желая познакомить А. О. Смирнову со своими московскими друзьями и в особенности с Аксаковым, писал ей от 4 июня 1845 года:

«Вы спрашиваете, как познакомиться со стариком Аксаковым. Приехавши в Москву, пошлите прямо за ним, чтобы он приехал к вам. Скажите, что это мое желание. Отыщите также старушку Шереметеву; скажите также, что я велел вам с нею познакомиться. В минуты трудные она вам будет очень полезна. Навестите также Языкова. Он без ног, а потому к вам не в состоянии приехать. Прочих всех можете увидеть у Хомякова, который даст для вас вечер и на нем покажет вам всех».

На другой день Гоголь писал Н. М. Языкову:

«В Москве будет, вероятно, на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно. Это же посоветуй Сергею Тимофеевичу Аксакову и даже Надежде Николаевне Шереметевой. Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать, прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее».

В том же письме от 5 июня Гоголь просит Языкова:

«С. Т. Аксакову и Шевыреву скажи, что напрасно они собираются писать ответ на письмо, на которое просилось одного только дружеского: да. С тех пор прошло уже полгода, и молчанье принято, как следует, за совершенное согласие; напоминание же о чем-нибудь уже забытом будет мне неприятно».

С. Т. Аксаков писал Гоголю:

***«Июня 11, 1845, Москва.***

Завтра, если бог допустит, мы с Ольгой Семеновной и нашей несчастной страдалицей Оленькой отправимся в деревню. Доктора возлагают большую надежду на воздух и движение; но больная так слаба, так расстроена нервами, что я не смею верить в возможность переезда. Из Москвы по камням перенесем ее на руках, а за заставой положим в карету… Мрачно и страшно наше будущее! Особенно потому, что не за себя одного боишься, а за многих…

Несмотря на то, что собственное горе и еще более беспрестанное опасение за каждую минуту будущего ожесточает сердце (вопреки мнению некоторых), или, лучше сказать, лишает способности принимать живое и глубокое участие в положении друга и брата, последнее письмо ваше к Языкову, милый друг Николай Васильевич, сильно меня поразило… Дай бог, чтоб оно было написано в припадке мрачной ипохондрии! Что можем мы делать? Только молиться богу, кто сколько может и умеет, о вашем выздоровлении… Меня сильно тревожит мое последнее к вам письмо. Постоянно находясь в огорчительном и раздражительном состоянии, я, вероятно, написал к вам что-нибудь резкое и, может быть, огорчительное для вас… Я знаю, что вы меня ту же минуту простили; но мне очень прискорбно, если я и на минуту огорчил вас. В нашем душевном союзе, с первой минуты столь чистом и прекрасном, не долженствовало быть ни одной темной минуты.

Уже давно сильно занимает меня Смирнова. Все, что свет говорит о ней с злобным наслаждением, мне хорошо известно. Живя давно на свете, я мало верю его слепым приговорам. Ваши слова возбудили во мне живейшее участие. Я дорого бы дал, чтоб узнать лично эту

женщину. К сожалению, она в Москву, как говорят, не будет, ибо наняла дачу под Петербургом: я приехал бы из деревни, чтоб с ней познакомиться. Прощайте, милый друг! Напишите мне несколько слов через Языкова. Обнимаю вас крепко и надеюсь на милость божию. Все мы вас обнимаем.

Ваш С. *Аксаков*».

Гоголь не отвечал по болезни. В письме его к Языкову от 25 июля есть упоминание об Аксаковых:

«Поблагодари Аксаковых… за их милые письма. Отвечать же теперь совершенно не в силах, а буду, как только сколько-нибудь приду в состояние».

Об этом времени сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны Аксаковой к М. Г. Карташевской:

«Сегодня утром получено неожиданное письмо от Смирновой (бывшей Розети), переслал его Самарин; оно по поводу Гоголя, который теперь в такой хандре и так болен, что не знают, что с ним делать. Он в переписке с Смирновой и пишет к ней о своем положении; и здесь также получены от него письма такого же содержания».

Наконец, в письме к Языкову же, в конце сентября 1845 года, был получен следующий ответ Гоголя Аксакову:

«Благодарю вас, бесценный Сергей Тимофеевич, за ваши два письма. Они мне были очень приятны. Здоровье мое, кажется, как будто немного лучше от купаний в холодной воде, но не могу и не смею еще предаться вполне надежде. Пишите в Рим, куда я отправляюсь; от Языкова узнаете подробнее. Не имею ни минуты свободной. Обнимаю вас всей душою, а с вами вместе и все ваше милое семейство.

Весь Ваш *Гоголь*».

На это письмо отвечала Гоголю Ольга Семеновна; Сергей Тимофеевич сделал лишь приписку.

***«1845 г. Октябрь 9-го.***

Слава богу! Мы получили известие от вас, что вам хотя немного лучше, что вы едете в Рим, а в Риме вы всегда бывали здоровее и бодрее, нежели в этой

Германии. Когда вы были в Карлсбаде, я надеялась, что вы решитесь приехать в Россию, что мы увидим вас, хотя уже тяжело становится не видать вас четвертый год. Да внушит вам господь мысль возвратиться скорее на родину, в Россию, где много людей, которые любят вас всею душою горячо, так, как вы никого не найдете в Европе, чтоб вас так любили — вы это знаете сами. Мы переехали жить в деревню, в четырнадцати верстах от Троицы — место святое, Филарет устроил скит, куда не пускают женщин; кто расположен молиться в уединении, тот вполне может. Оленька наша менее теперь страдает; но совершенного выздоровления она, кажется, не может получить; лекарства все оставлены; одно чудесное и видимое милосердие божие ее спасает. Константин с нами ожидает, когда прочтут его диссертацию профессора. Гриша во Владимире… Иван переехал в Калугу, где нетерпеливо ожидает приезда Александры Осиповны. Вот вам коротенький отчет о семье нашей, милый друг наш Николай Васильевич. Сколько могу и умею, молюсь о вас. Пишите к нам, обнимаю вас».

P. S. «Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Я получил вашу записочку через Языкова, прочел также ваше письмецо к нему и знаю, что вы писали к Александре Осиповне, с которой, к душевному моему удовольствию, познакомился заочно и даже переписываюсь. Мой Ваня служит в Калуге и живет в совершенном пустынном сиротстве: Александра Осиповна заранее предлагает ему свой дом как родной, как *его собственный* (так она выражается). Я увижу эту необыкновенную женщину в проезд ее через Москву и нетерпеливо ожидаю этого свидания. Мне очень хочется сохранить ее образ в моей памяти в числе немногих утешительных воспоминаний, и я не хочу пропустить этого случая: ибо слепота моя приближается. Молю бога, да подкрепит он ваше здоровье. В глубине души моей живет отрадное убеждение в полном вашем восстановлении. Еще дело не сделано, не кончено, и делатель не должен погибнуть… Долгое и трудное поприще вас ожидает!.. Константин мой меня сокрушает: он бездействует в лютой хандре (это между нами). Обнимаю вас крепко, горячо: сердце мое еще молодо!

Ваш друг *Сергей Аксаков*».

В ответ Гоголь писал:

***«Рим. Октября 29 <1845>.***

Уведомляю вас, добрый друг мой Сергей Тимофеевич, что я в Риме. Переезд и дорога значительно помогли; мне лучше. Климат римский подействует, если угодно богу, так же благосклонно, как и прежде. А потому вы обо мне не смущайтесь и молитесь. Уведомьте об этом также и маменьку мою. Я хотя и написал к ней письмо сей же час по приезде в Рим, и к ней первой, но вообще за письма мои к ней я сильно беспокоюсь. Двух или трех писем моих *сряду* она не получила. Два из этих писем были очень *нужны*. Это для меня неизъяснимо. Пропасть на почте, пожалуй, еще может одно письмо; но *сряду* два, писанные одно за другим, — это странно. У маменьки есть неблагоприятели, которые уже не раз ее смущали какими-нибудь глупыми слухами обо мне, зная, что этим более всего можно огорчить ее. Подозревать кого бы то ни было грешно, но все не худо бы об этом разведать каким-нибудь образом, дабы узнать, как руководствоваться вперед; последние письма я даже не смел адресовать прямо на имя маменьки, но адресовал на имя одной ее знакомой, С. В. Капнист. Письмо, однакоже, из Рима было послано на ее собственное имя. Оно отдано мною здесь на почту 25 октября здешнего стиля. Об этом прошу вас, друг мой Сергей Тимофеевич, уведомить маменьку немедленно или поручить кому-нибудь из ваших, кто с ней в переписке.

О себе, относительно моего здоровья, скажу вам, что холодное леченье мне помогло и заставило меня, наконец, увериться лучше всех докторов в том, что главное дело в моей болезни были нервы, которые, будучи приведены в совершенное расстройство, обманули самих докторов и привели было меня в самое опасное положение, заставившее не в шутку опасаться за самую жизнь мою. Но бог спас. После Греффенберга я съездил в Берлин нарочно с тем, что повидаться с Шёнлейном, с которым прежде не удалось посоветоваться и который особенно талантлив в определении болезней. Шёнлейн утвердил меня еще более в сем мнении, подивился докторам, пославшим меня в Карлсбад и Гастейн. По его мнению, сильней всего поражены были у меня нервы в желудочной области (в так называемой системе nervoso fascoloso), одобрил поездку в Рим, предписал вытиранье мокрой

простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю, две какие-то гомеопатические капли поутру, а с началом лета и даже весной — ехать непременно на море, преимущественно северное, и пробыть там, купаясь и двигаясь на морском воздухе, сколько возможно более времени, — ни в каком случае не менее трех месяцев. Затем, обнимая как вас, так и все ваше милое семейство, остаюсь

Ваш *Гоголь*.

Адресуйте письма так: Via de la Croce, № 81, 3 piano».

Из-за усилившейся болезни глаз Аксаков уже не мог сам писать, а продиктовал ответ Гоголю; длинное письмо лишь в нескольких местах писано им собственноручно».

***«1845. 22 ноября. Радонежье.***

Как вы обрадовали меня, милый друг Николай Васильевич, письмецом своим из Рима от 29 октября (вероятно, нового стиля)! Хотя я питал в душе моей теплую веру и надежду, что милосердный бог подкрепит ваши силы и проявит на вас вновь свою великую милость: ибо еще не свершен ваш подвиг, не окончено дело; хотя я ободрял этими словами и свою семью, горевавшую о вашем болезненном состоянии, и даже написал их в письме к Александре Осиповне, которая, в тревоге о вашем тяжелом положении, вошла со мною в переписку; но не без страха и внутреннего волнения повторял я утешительные слова сии!.. Будем молиться богу, чтоб он вполне восстановил ваши телесные и душевные силы. Мы уже знали через Надежду Николаевну, что ваша маменька получила от вас письмо через посторонние руки, из которого узнала, что прежние ваши письма пропали. Сообразив прежние обстоятельства, кажется, что пропажа их исходит из того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя. По-моему, это гнуснейшее злодейство; я глубоко возмущен им и, признаюсь, желаю, чтоб эти добрые люди получили достойную награду. Третьего дня моя Вера писала к вашей сестрице обо всем том, о чем вы желали известить их.

Мы живем в деревне тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука.

Болезненное состояние нашей Оленьки продолжается, иногда несколько легче, иногда тяжелее: не смеем надеяться исцеления, но и за настоящее ее положение благодарим бога. Я ничего не вижу левым своим глазом, да и правым вижу нехорошо; но счел бы за великое благополучие, если бы мог сохранить этот остаток зрения во всю остальную мою жизнь. По первому зимнему пути, уступая желанию моего семейства, хочу съездить в Петербург для свидания с глазным доктором Кабатом, хотя крепко не хочется ехать. Ольга Семеновна моя часто прихварывает: теперь и у ней болит глаз; прочие все здоровы. Константин живет еще с нами; на днях будет возвращена из факультета его диссертация, которую профессора читали восемь месяцев. На следующей неделе он переедет жить в Москву, чтобы печатать и потом защищать на диспуте свой пятилетний труд: если он не будет совершенно искажен цензурой факультета и попечителя, то Москва услышит на диспуте много нового, и… мы испытаем много волнения и заочного беспокойства, ибо не поедем в Москву на это время. С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы послали вам две стихотворные пиесы («Чиновник» и «Зимняя дорога») моего Ивана; сверток оставлен у Жуковского; когда ваше здоровье восстановится совершенно, то вытребуйте его и напишите мне голую правду.

Несколько месяцев тому назад началась у меня переписка с Александрой Осиповной. Разумеется, предметом содержания наших писем были вы; с первой строки она умела восстановить между собой и мной искреннюю короткость. В начале ноября она приехала в Москву, проезжая в Калугу; меня известили, и я ездил туда для свидания с нею; мы провели целый вечер в самых дружеских и откровенных разговорах большею частью о вас. Она намеревалась ехать к Троице и хотела непременно заехать к нам в деревню; но совершенное бездорожие помешало ей исполнить свое намерение. Я получил от нее письмо, в котором она пишет, что непременно будет у нас зимой или весной; я нетерпеливо хочу увидеться с ней в другой раз: одного свидания слишком недостаточно. Первое мое впечатление не во всем согласно с теми понятиями, которые я составил себе об этой необыкновенной женщине: многие черты не похожи на те, которые я

придал заочно ее образу. Все это мне надобно согласить. Она захотела видеть Константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях одно скидается, а другая сбривается); она с первого слова напала и на платье и на образ его мыслей. Константин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в Калугу она так же просто и коротко обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом), который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил. Одно можно положительно заметить, что человеческие убеждения, хотя бы совершенно ложные, но тем не менее задушевные и серьезные, никогда не уступают самому шутливому нападению, а даже оскорбляются им. Она так умна, что, без сомнения, не думала перевоспитать этих молодых людей в первые полчаса первого своего в жизни с ними свидания. Я уверен, что она в иное время бывает иною и что даже не без намерения показалась тою, которою является по необходимости в этом душегубном омуте, называемом высшим кругом. Тихое прикосновение стали даже и к острому кремню не извлекает искр; а ничтожные нападения и пустая светская речь, там где ее не ожидали, извлекла несколько огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих юношей… Не могу долго писать: все зарябит в последнем глазу моем; а диктовать не умею. Я очень давно не видал ни Погодина, ни Шевырева, даже с Языковым не видался в последний приезд в Москву и потому ничего не могу вам сообщить о них; знаю только, что нет в Москве, между всеми нашими с вами общими знакомыми, и двух человек согласных между собою, а потому никакое литературное дело не может иметь успеха. Погодин печатает черт знает что в «Москвитянине»… ну, да лучше не говорить о нем. Лучше расскажу вам о нашем житье-бытье. От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все мы заняты своими делами: играют, рисуют, читают; Константин что-нибудь пишет, а я диктую. Я затеял писать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера,

роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудесная природа Оренбургского края, какою я зазнал ее назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня. После обеда мы уже не расходимся по своим углам, а сидим вместе; весь вечер продолжается уж общее чтение. Каждый вечер мы читаем что-нибудь ваше по порядку выхода. Вчера кончили все; через несколько месяцев станем опять читать. Собирайте, укрепляйте ваши силы; да подействует на вас благодатно и плодотворно воздух вечного Рима. Пишите к нам, когда вам захочется: мы будем делать то же. Крепко обнимаю вас.

Ваш на всю жизнь *С. Аксаков*.

Оставил было местечко, чтоб жена приписала к вам, милый друг; но глаз у ней так разболелся, что она писать не может. Прощайте, усердно молим бога, чтоб он восстановил совершенно ваше здоровье. Еще раз вас обнимаю. Все мои вас обнимают и вам кланяются».

В пояснении строк: «Пропажа их <писем> исходит из того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя», и слов самого Гоголя: «У маменьки есть неблагоприятели, которые уже не раз ее смущали какими-нибудь глупыми слухами обо мне, зная, что этим более всего можно огорчить ее», следует привести выписку из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 31 мая 1849 года:

«Малороссы вообще, особенно в Миргороде, терпеть не могут Гоголя за то, что он их вывел в смешном виде, и говорят, что «Мертвые души» написаны на них же; всегда выдумывают на него всевозможные сказки, так что бедную мать часто мучат. Она сама нам рассказывала. Вообрази, что один раз один из них имел прежде дело с отцом Гоголя и потом мстил матери, и как он мстил! Она как-то долго не получала писем от сына из чужих краев. Этот господин написал ей, что сын ее сошел с ума или что-то такое — не помню. Хорошо, что она прочла это письмо после того, как получила письмо от сына».

Пропажа писем к матери не переставала беспокоить Гоголя, что видно еще из следующего письма его к Аксакову от 25 ноября 1845 года:

«Письмо Шевырева меня огорчило. Он заговорил

вновь о том, о чем я просил, как о деле конченном, никогда не говорить мне. Вы меня все-таки больше знаете (вы утвердили обо мне свое мнение не из дел моих и поступков, а благородно поверили мне в душе своей, почувствовавши той же душой, что я не могу обмануть, не могу говорить одно, а действовать иначе); словом — вы меня все-таки больше знаете, а потому объясните Шевыреву, что все то, что я уже положил и определил в душе своей и произношу твердо, то уже не переменяется мною. Это не упрямство, но то решение, которое делается у меня вследствие многих обдумываний. Если ж он найдет исполнение моей просьбы несообразным своим правилам, то пусть передаст все в одни ваши руки. А вас прошу тогда выполнить, как святыню, мою просьбу. Не смущайтесь затруднительностью: бог вам поможет. Помните только то, что деньги не для бедных студентов, но для бедных, слишком хорошо учащихся студентов, для талантов. Имя дающего должно быть навсегда скрыто, потому что у талантов чувствительней и нежней природа, чем у других людей. Многое может оскорбить <их>, хотя и не кажущееся другим оскорбительным. Когда же дающий скрыл свое имя — дар его примется твердо и смело, благословится во глубине благодарной души его неизвестное имя; ибо тот, кто скрыл свое имя, верно не попрекнет никогда своим благодеянием и не напомнит о нем. Не заботьтесь о том, что книга идет тупо, не хлопочите о ее распространении и берегите только экземпляры. Она пойдет потом вдруг; деньги тоже пока не нужны; таланты редки, и не скоро один после другого появляются. Нужно только, чтобы ни одна копейка не издержалась на что-нибудь другое, а собиралась бы и хранилась бы, как святая: обет этот дан богу. Объявите также Шевыреву, сколько я вам остался должен. Не бойтесь: я вам не заплачу этих денег, потому что я взял у вас их таким образом, как бы взял из моего собственного кармана. Но Шевыреву нужно объявить: он, кажется, подозревает, что я вам должен гораздо больше. Хотел было попенять вас за то, что пишете весьма мало о Константине Сергеевиче, но вижу в то же время, что это более следует сделать ему, нежели вам; до меня доходят только временами *слухи*, которые, как известно, даже и тогда бывают нелепы, когда бывают основательны. Передайте ему это маленькое письмецо и пришлите мне

что-нибудь из стихов Ивана Сергеевича. Мне хвалили очень его «Зимнюю дорогу». Пришлите ее и все то, что ни было им написано в последнее время. Прилагаю вновь письмо к маменьке и вновь прошу вас переслать к ней; я все еще боюсь пропажи писем. Ольгу Семеновну благодарю много за ее милую приписку. Здоровье мое хотя и стало лучше, но все еще как-то не хочет совершенно устанавливаться. Чувствую слабость и, что всего непонятнее, до такой степени зябкость, что не имею времени сидеть в комнате: должен ежеминутно бегать, согреваться; едва же согреюсь и приду, как вмиг остываю, хотя комната и тепла, и должен вновь бежать согреваться. В такой беготне проходит почти весь день, так что не имеется времени даже написать письма, не только чего другого. Но о недугах не стоит, да и грех говорить: если они даются, то даются на добро. А потому помолитесь и всю вашу семью попросите помолиться, и все, кто ни молились обо мне, да помолятся вновь, да обратится все в добро и да пошлет господь бог попутный ветер моему делу и труду. Затем прощайте, обнимаю вас!

Ваш *Г.*

Адрес мой: Via de la Croce, № 81, 3 piano».

Наступивший 1846 год не оправдал надежд на выздоровление Гоголя. За этот год сохранилось мало его писем к С. Т. Аксакову. Вот одно из них:

***«1846. Рим. 23 марта.***

Письмо ваше от 23 генваря я получил. Благодарю вас много за присылку стихов Ивана Сергеевича. В них много таланта, особенно в первом, то есть в стихах, начинающихся так:

«Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ…»

Я удивляюсь только, почему они лучше последних, тогда как бы следовало быть последним лучше первых: человек должен идти вперед. Прежних стихов, вами посланных к Жуковскому, я не получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли какая-нибудь к нему посылка на мое имя. Я послал,

однакож, к нему запрос, на который доселе еще нет ответа. Благодарю также Ольгу Семеновну за сообщение прекрасной проповеди Филарета, которую я прочел с большим удовольствием. Насчет недугов наших скажу вам только то, что, видно, они нужны и нам всем необходимы. А потому как ни тяжко переносить их, но, скрепя сердце, возблагодарим за них вперед бога. Никогда так трудно не приходилось мне, как теперь; никогда так болезненно не было еще мое тело. Но бог милостив и дает мне силу переносить, дает силу отгонять от души хандру, дает минуты, за которые не знаю и не нахожу слов, как благодарить. Итак, все нужно терпеть, все переносить и всякую минуту повторять: «Да будет и да совершится его святая воля над нами!» Покамест прощайте до следующего письма. Зябкость и усталость мешают мне продолжать, хотя я и желал бы вам писать более. Доселе изо всех средств, более мне помогавших, была езда и дорожная тряска, а потому весь этот год обрекаю себя на скитание, считая это необходимым и, видно, законным определением свыше. Летом полагаю объездить места, в которых не был, в Европе северной, на осень — в южную, на зиму — в Палестину, а весной, если будет на то воля божья, в Москву; а потому следующие письма адресуйте к Жуковскому. А всех вообще просите молиться обо мне, да путешествие мое будет мне во спасенье душевное и телесное и да успею, хотя во время его, хотя в дороге, совершить тот труд, который лежит на душе. Пусть Ольга Семеновна об этом помолится и все те, которые любят молиться и находят усладу в молитвах. Прощайте, друг мой. Обнимаю всех вас

*Н. Гоголь».*

Другое письмо Гоголя свидетельствует о долгом молчании Аксакова и относится уже к середине ноября 1846 года:

«Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка? Я, однакож, знаю почти все, что с вами ни делается: чего не дослышал слухом, то дослышала душа. Принимайте покорно все, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается тем, который нас создал и знает лучше, что нам нужно. Именем бога говорю вам: все обратится в добро. Не вследствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее добро, какое ни добыл я, — добыл из

скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа и недоумевал ум помочь. Ради самого Христа, не пропустите без вниманья этих слов моих. Адресуйте мне в Неаполь. Раньше генваря последних чисел я не думаю подняться в Иерусалим.

Ваш *Г.*».

Сохранились за это время выписки из писем Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской:

*От **7 апреля**.*

«Недавно пересылала нам Смирнова письмо от Гоголя; он пишет, что проведет все лето в дороге, что ему необходимо нужно; что поедет в Турцию, в Иерусалим; что он теперь, несмотря на свои физические страдания, испытывает чудные минуты; что его страдания самые необходимы для его труда; и по всему видно, что труд его уже почти готов; он просит всех молиться за него».

*От **29 июля**.*

«В 88-м № Московской газеты напечатана прекрасная, занимательная статья Гоголя, которая нас порадовала во многих отношениях; видно, что он теперь бодр и занят своим трудом. Эта статья — по случаю перевода Жуковским «Одиссеи». Может быть, Гоголь и ошибается насчет достоинства перевода и даже насчет того впечатления, которое произведет «Одиссея», но статья его не менее от того глубока и замечательна».

*От **26 сентября**.*

«Я тебе еще не писала, что на днях должно выйти новое сочинение Гоголя, содержание которого неизвестно; оно печатается под величайшим секретом в Петербурге по его поручению; ждем и нетерпеливо, что может оно заключать? У нас же прошли слухи, что будто это отрывки из его переписки с друзьями, что будто он сжег второй том «Мертвых душ» и так далее; слухи, по которым должно заключить, что он не совсем в здравом уме, по крайней мере слишком односторонен».

*От **3 декабря**.*

«Гоголь или болен, или потерял здравый смысл, живя так долго один в землях чужих. Может быть, даже и влияние, ему самому незаметное католицизма, хотя не нарушая форм православия, дает этот странный характер его религиозному направлению, которое, наконец, овладело им до такой степени, что художник исчезает. Это так грустно и нам, даже несмотря на наши собственные невеселые обстоятельства. Отесенька так волновался и огорчался, что мы не допускали даже разговоров о Гоголе. Несмотря на наши все убеждения, отесенька, хотя не вдруг, продиктовал письмо к Гоголю, вполне откровенное, и столько сильное и прекрасное, что, если в Гоголе осталась капля здравого смысла, оно должно его поразить и образумить. Вообрази, что он прислал к нам к четвертому и пятому изданию «Ревизора» «Предуведомление», которое состоит вот в чем: Гоголь назначает деньги, вырученные за «Ревизора», в пользу бедных, особенно мелких чиновников. Он просит всех читателей разузнать о бедных и сообщать об них сведения лицам, избранным им на это дело, и сообщать не только письменно, но и лично. Лица же эти обязаны разузнавать о причине бедности и даже давать наставления и употреблять даже священников на то. Лица же эти почти все наши знакомые: именно, Елагина, Свербеева и я, — как тебе это покажется, — несколько и мужчин; и так же в Петербурге. В своем предисловии к книге, которая должна выйти в Петербурге, он объявляет, что у него не остается манускриптов, что он сжег все свои бумаги и т. д.».

*От **27 декабря**.*

«Об Гоголе слухи все не лучше. Говорят, он еще хочет издать книгу о русском духовенстве, — не знаю, правда ли? Отесенька с тем и писал письмо к Плетневу, чтобы остановить печатание всех этих нелепостей, но Плетнев так ограничен, что не понял или не хочет понять всей этой нелепости, и говорит: нам порукой Жуковский, который одобрил все намерения Гоголя. Письмо отесеньки к Гоголю у нас есть, отесенька его никому почти не показывал, для того чтобы Гоголь не обиделся, но тебе, разумеется, показал бы. Что-то он будет отвечать! Мы мало имеем надежды на то, чтоб оно

произвело благодетельное на него влияние; то есть, чтоб заставило его взглянуть здравыми глазами на все свои действия. Этот взгляд, эти мысли глубоко вкоренились в нем и слишком согласны вообще с его странным характером. Говорят даже, будто он целые дни проводит с монахами, но мы этому решительно не верим; он, напротив, сохранил все формы православия, принявши дух религии католической, — потому что все это желание проповедовать, обращать, налагать какие-то внешние формы и для молитвы и для благотворительности — все это в духе католическом, а не в нашем».

К этим строкам можно прибавить еще выписки из писем С. Т. Аксакова к сыну Ивану в Калугу.

*От **26 августа 1846 г**.*

«Мы получили верное и секретное известие из Петербурга, что там печатается целая книга, присланная от Гоголя: «Отрывки из писем, или Переписка с друзьями» (названия хорошенько не помню). Вероятно, там помещено много из его писем к А. О. <Смирновой>, к Языкову и ко мне. Между прочим, там Гоголь признает совершенную ничтожность всего им написанного и говорит, что изорвал продолжение «Мертвых душ»; объявляет, что едет в Ерусалим и делает какое-то завещание России. Плетнев печатает эту книгу в возможном секрете и потому не говорит об этом никому ни слова. Без сомнения, А. О. должна это знать. Увы! исполняется мое давнишнее опасение! религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастие, истинное горе».

*От **последних чисел ноября**.*

«Я написал и послал сильный протест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, которая состоит из отрывков писем его к друзьям и в которой точно есть завещание к целой России, где Гоголь просит, чтобы она не ставила над ним никакого памятника, и уведомляет, что он сжег все свои бумаги. Я требую также, чтобы не печатать «Предуведомления» к пятому изданию «Ревизора»: ибо все это с начала до конца чушь,

дичь и нелепость, и если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России. То же самое объявил я Шевыреву. Не обязывая их к полному согласию со мною, я убеждаю их написать Гоголю с совершенной откровенностью, что они думают. Сам я начал диктовать большое письмо к Гоголю, где я высказываю ему беспощадную правду. Очень жаль, что диктовка этого письма, сильно меня волнуя, увеличивает мои страдания, что и заставляет диктовать понемногу: оно потеряет свою цельность и энергию. Если Гоголь не послушает нас, то я предлагаю Плетневу и Шевыреву отказаться от исполнения его поручения. Пусть он находит себе других палачей».

*От **3 декабря**.*

«Я уведомил тебя, что писал Плетневу; вчера получил от него неудовлетворительный ответ. Письмо к Гоголю лежало тяжелым камнем на моем сердце; наконец, в несколько приемов я написал его. Я довольно пострадал за то, но согласился бы вытерпеть вдесятеро более мучения, только бы оно было полезно, в чем я сомневаюсь. Болезнь укоренилась, и лекарство будет не действительно или даже вредно; нужды нет, я исполнил свой долг как друг, как русский и как человек».

Об этом времени и по этому поводу есть еще особый рассказ С. Т. Аксакова, составляющий выдержку из его воспоминаний, которые были им отданы П. А. Кулишу.

«В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается «Переписка с друзьями», мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хотя на несколько времени. На это письмо я получил от Гоголя ответ уже в 1847 году… Из этого ответа видно, что если мое письмо и поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться; а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием «Ревизора с Развязкой». На них я нападал всего более, но об этом говорить еще рано. Между тем мне прочли кое-как два раза его книгу (я был еще болен и ужасно страдал). Я пришел в восторженное состояние от

негодования и продиктовал к Гоголю другое небольшое, но жестокое письмо. В это время Д. Н. Свербеев, в письме ко мне, сделал несколько очень справедливых замечаний. Я послал и его письмо вместе с своим к Гоголю».

Вот первое письмо, продиктованное С. Т. Аксаковым:

***«9 декабря 1846 г.***

Давно, очень давно надобно было писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу; но с февраля прошедшего года я жестоко страдаю и только летом имею отдых, как будто для того, чтоб собраться с силами; с 1-го же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствие состояло не в этом: при всяком ослаблении болезни я думаю и думал об вас и часто говорю мысленно с вами; итак, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это-то меня до сих пор останавливало. Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; а я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина, такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно. Кажется, вы не должны оскорбиться этим.

Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть.

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой: каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться

наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом. Вскоре прислали вы нам при самом загадочном письме душеспасительное житие Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как, когда и поскольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей… Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его. После того вы были долго больны сами, и вскоре после вашего медленного выздоровления начались мои мучительные страдания, и теперь продолжающиеся. Немного было предметов, возбуждавших мое душевное участие; но вы были из первых. Телесное здоровье ваше, как видно, поправилось, и деятельность возобновилась; но какая деятельность? Каждое ваше действие было для меня новым ударом, и один другого сильнейшим. Статья ваша, напечатанная в «Московских ведомостях» о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие — пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда, даже в предметах, мало вам известных, были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем. Предисловие ваше ко второму изданию «Мертвых душ» поразило меня глубже, и когда Шевырев читал мне его, то мои стенания от физических мучений заменялись стенаниями душевными, и я тогда же предлагал не печатать вашего объяснения с читателями. В коротких

словах скажу вам заключение, которое выведет из него здравый толк простого русского человека. *«Кой черт, — скажет он, — сочинитель сам признается, что плохо знает Русь, и для того, чтобы избежать промахов во втором томе своего сочинения, почти пять лет живет за границей, да, видно, и еще хочет там оставаться, потому что просит нас замечать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русский быт и все это пересылать к нему через петербургских и московских корреспондентов! Он, видно, хочет, живя на чужбине и с каждым днем забывая то, что знал о святой Руси, чужими руками жар загребать»*. Нужно ли говорить, что скажут те люди, которые понимают, как ложна мысль, будто из мертвых описаний житейских фактов и анекдотов может постигаться жизнь и дух обширнейшей, разнообразнейшей страны и великого народа, в ней живущего. Вслед за этим разнеслись темные слухи, что в Петербурге печатается целая книга ваших сочинений, в которой помещена ваша переписка с друзьями, состоящая из проповедей и пророчеств, ваше признанье, что все написанное вами до сих пор ничтожно и не достойно внимания, ваше извещение, что вы сожгли продолжение «Мертвых душ» и что вы отправляетесь в Иерусалим, и, наконец, ваше завещание, чтоб не ставили никакого памятника на вашей могиле. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тем не менее уже не я один, но многие из тех, для коих драгоценны вы и ваш великий талант, пришли в неописанный ужас. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм. Вскоре получили мы доказательства, после которых, по моему мнению, должно было всему поверить: мы получили для напечатания «Предуведомление» к четвертому изданию «Ревизора» в пользу бедных и новую Развязку. Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтоб шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, в услышание всей России, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поименно членов оного и с подробностью предписываете им образ их действий, невозможный в исполнении, несообразный ни с чем до последней крайности. Как вы могли подумать, что лица, назначаемые вами, особенно женщины, могли быть так неразборчивы, так нескромны, что согласились бы

принять публичные обязанности благотворения, вами на них возлагаемые?.. Разумеется, никто не согласится, и ваше «Предуведомление» уничтожается само собою. Но где же ваш прежний ясный и здравый взгляд на публичность, гласность в деле благотворения? Давно ли вы сами поручали такие дела Шевыреву и мне под условием глубокой тайны? Этой тайны не знают даже наши семейства. Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию — к новой Развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого. Скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения «Ревизора» искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене; что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла, ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность? Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспощадной правды — вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры, — вы жестоко ошибетесь. Пятый год душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и, наконец, переполнилась мера. Посердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правде, высказанной мною».

Ответ Гоголя прибыл уже в 1847 году.

***«Неаполь. 1847. Генваря 20, нового стиля.***

Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и

ограничиться; но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп, — вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе *меня самого* и покажут мне в то же время *вас*, то есть *моих читателей*. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах! А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего; я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее, тем в

больших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам подвернется; кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких. Один только секрет и был, о котором я просил вас никогда даже и мне не напоминать и о котором вы неблагоразумно упомянули в вашем письме. Сами сказали, что о нем и семейство ваше не знает, и дали написать эти слова не вашей руке. Это нехорошо. Если вы почувствовали надобность упомянуть об этом деле для того, чтобы сделать сравнение с распоряжением по части продажи «Ревизора» (которого издание и представление мною отложено), то лучше было обойтись просто, без этого сравнения, тем более, что оно совсем неверно и невпопад. Есть дела, которые действительно нужно производить так, чтобы и другая рука наша не видела того, и есть дела, которые нужно производить открыто, в виду всех, которые суть просто наш непременный долг, а не подвиг благотворения. Если почти все наши писатели издавали книги для бедных, если даже Булгарин, Греч и многие другие, укоряемые в корыстолюбии, производили в пользу бедных пожертвованья, публичные чтения и тому подобные, — почему же я не могу также и что же я за исключение? и отчего копейка от другого есть долг, а от меня подвиг благотворения? Друг мой, вы не взвесили как следует вещи и слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа. Это может безошибочно делать один только тот, кто уже весь живет во Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе — во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.

Вас очень любящий *Г.*».

До получения ответа от Гоголя Аксаков успел уже прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями» и под свежим впечатлением этой книги продиктовал два негодующих письма: одно в Калугу, к сыну Ивану, который сочувственно относился к «Выбранным местам», другое — к самому Гоголю. Вот первое из них:

***«14 января 1847 г.***

Сейчас получил письмо твое, милый друг Иван, от 11 января. Не будучи в состоянии заниматься теперь никаким другим делом, кроме разговора с тобою, я принимаюсь диктовать письмо, хотя оно пойдет еще послезавтра. Письмо твое не изумило, не поразило меня, а просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю книгу Гоголя. Если бы я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитинову, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано *ангельскими устами* и *небесным голосом*, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о *рукоплесканиях на небесах*. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина, где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставление помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, *тыкая* в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостает денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: *прекрасный небесный отец наш* и рядом: *прекрасный друг мой* (говоря о Жуковском)? Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой

не называю, непосредственно вытекает из духа христианского. Этот дух по крайней мере неглуп. Я прочел книгу и отдал читать другим; пишу теперь на память, которая у меня плоха. Я уверен, что найду в ней десяток подобных доказательств. Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это хохлацкая шутка; широко замахнулся, не совладел с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства.

Мы все сбираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать при мне, кроме истинных друзей Гоголя.

***16 января.*** Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал), но скоро успокоился и теперь искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: *«Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую: но где же учит он давать публичные оплеухи?»* Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался *лучшим?* Чтоб все исправлялись о *имени его?*.. Все это надобно

повершить фактом, который равносилен *41-му числу мартобря* (в «Записках сумасшедшего»)… Сейчас получили письмо твое от 14 января и вместе с ним письмо от матери Гоголя, которая еще не получила его книги, но получила его завещание… Добрый и нежный сын! Книги Гоголя в продаже нет, ибо всего было прислано тридцать пять экземпляров, а тысяча двести выслано из Петербурга в прошедший понедельник; итак, ты не скоро еще ее получишь. Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться. Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направления в Гоголе. Что Александра Осиповна? Если ты захочешь, то можешь показать ей или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя. Я даже желал бы сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою. Неужели необыкновенный ум этой женщины не поймет меня? Целую, обнимаю и благословляю тебя. Отец и друг *С. Аксаков*».

А вот другое письмо С. Т. о «Выбранных местах», адресованное Гоголю, от **27 января 1847 года:**

«Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений… Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге… Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, — оскорбляете и бога и человека.

Если б эту книгу написал обыкновенный писатель — бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час,

когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство — измена ему.

Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря, но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам. Прощайте. Обнимаю вас и молю бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.

Друг ваш *С. Аксаков*.

**P. S.** Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги, но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но *по-своему*. Погодин сначала был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать публичные оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.

Мой адрес: в Леонтиевском переулке, в доме Рюмина».

Едва только было отправлено это письмо, как прибыл ответ Гоголя на письмо от 9 декабря 1846 г. из Неаполя (см. выше, стр. 327). Об этом ответе С. Т. писал 17 февраля 1847 г. сыну Ивану; кроме того, об этом сохранилась и выписка из письма Веры

Сергеевны к М. Г. Карташевской от 21 февраля 1847 г. Вот она:

> «До выхода книги <«Выбранные места из переписки с друзьями»> отесенька никому не показывал письма своего к Гоголю; но после книги, видя, что для Гоголя не существует уже более никаких частных дружеских отношений, показал свое письмо и потом ответ его. Не осталось человека, который бы более или менее не был оскорблен им, и приговор был общий, что письмо хуже книги. Еще не получая ответа от Гоголя, отесенька не выдержал и написал ему несколько строк по прочтении его книги… Отесенька даже жалел, что послал его; но теперь доволен, потому что по получении такого ответа на первое письмо не был бы в состоянии написать ему о впечатлении, произведенном его книгою. Отесенька удивительно спокойно и кротко принял его ответ, но писать к нему с тою душевною горячею откровенностью, после такого ответа, разумеется, не в состоянии».

Вот выдержки из нескольких писем С. Т. к сыну Ивану:

*От **23 января 1847 г**.*

> «О книге Гоголя надо говорить или писать много и долго: я читаю ее во второй раз и очень медленно. Благодаря бога я уже совершенно убежден в полной искренности сочинителя, и его духовное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии перехода, всегда исполненного излишеств, заблуждений, ослеплений. Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого положения; но книга его чрезвычайно вредна: в ней все ложно, следственно и впечатления, будучи ложны… Самым близким и живым доказательством тому служишь ты сам… Говоря о примирении искусства с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем; дай бог, чтобы это было только на время… Вчера вечером мне перечли письмо о *значении женщины в свете*. Большую статью надо написать на это письмо. Боже мой, до какой степени оно противно духу христианскому! Это письмо не только католическое, но языческое: нигде так ярко не изобличается ложность направления Гоголя».

*От **30 января**.*

«Прочитав в другой раз статью о *лиризме наших поэтов*, я впал в такое ожесточение, что, отправляя к Гоголю письмо Свербеева, вместо нескольких строк, в которых хотел сказать, что не буду писать к нему письма об его книге до тех пор, пока не получу ответа на мое письмо от 9 декабря, написал целое письмо, горячее и резкое, о чем очень жалею… Вчера прочли мы, едва ли не в третий раз, письмо об Иванове, которое понравилось мне гораздо менее прежнего. Они оба погибают от лукавого мудрствования: верить надобно в простоте сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по-моему, мешать имя бога во все наши дела. Разумеется, всякий талант от бога; но мысль, что прежде надо сделаться святым, чтоб изобразить святое — нелепость. Из этого выйдет, что Иванов не кончит картины «Богоявления господня», а Гоголь — «Мертвых душ». Кто может осмелиться сказать самому себе: я теперь готов, я добродетелен, я свят? Много, много надобно говорить об этом. Я хочу переплесть книгу Гоголя с белыми листами, вновь перечитать ее и записать все мои замечания; эту книгу я отошлю к нему, разумеется с оказией. Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством — теряющий великого поэта. До тех пор я не успокоюсь совершенно. Как мне больно слышать твои слова: *Все это может быть полезно людям… Просветленный художник уразумеет всю жизнь.* Какая мечта! Мы сходимся в одном с Александрой Осиповной Смирновой, что Гоголь не в состоянии кончить «Мертвые души».

*От **6 и 8 февраля**.*

«Книгу Гоголя мы прочли окончательно, иные статьи даже по три раза; беру назад прежние мои похвалы некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне». «Гоголь не перестает занимать меня с утра до вечера…».

*От **17 февраля**:*

«Я желаю, чтоб ты показал или прочел ей <А. О. Смирновой> все, что я писал о Гоголе. Я желал бы, чтоб все, мною написанное и сказанное о нем, было тогда же напечатано: ибо теперь, после его ответа на мое письмо,

я уже не стану ни говорить, ни писать о нем. Ты не знаешь этого письма. Я перенес его спокойно и равнодушно; но самые кроткие люди, которые его прочли, приходили в бешенство».

Гоголь писал С. Т. Аксакову в ответ на письмо от 27 января:

***«6 марта <1847>. Неаполь.***

Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне. В письме его есть, точно, некоторая жестокость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом к вам он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то, <что> высказал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, — такой человек не может находиться в *полном* и *совершенном* самоослеплении. А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь: уговор был принимать не сердясь взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать *замечания* — это другое дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний *заключение* обо всем человеке — это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать *со всех сторон* предмет. Ну что, если я вам расскажу следующую повесть? Повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным

обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребуется больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключенье об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовления обеда, что у них закружилась голова. Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды? Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня своими замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать, но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека. Это лучше всего, что он может для меня сделать, и, верно, бог за такие чистые и жаркие молитвы, которые суть лучшие благодеяния, какие может сделать на земле брат брату, спасет мою душу даже и тогда, если бы, по-видимому невозвратно, одолели ее всякие обольщения. Но покуда прощайте. Передавайте мне все толки и суждения, какие откуда ни услышите, и свои, и чужие, — первые, вторые, третьи и четвертые впечатления. Душевный поклон доброй Ольге Семеновне и всем вашим.

Весь ваш *Гоголь*.

Насчет Погодина есть также недоразумения, но, вероятно, он уже с вами об этом объяснился, потому что я ему писал подробно третьего дня, то есть 4 марта. К Шевыреву было также послано письмо от 4 марта…»

По поводу этого письма сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 2 апреля. В. С. Аксакова сообщает о получении от Гоголя нового письма, адресованного ее отцу.

> «Это письмо совсем не похоже на предпоследнее, которое я тебе прислала. Гоголь опомнился и сам видит свои ошибки и признает их. Письмо это было для нас истинно радостной неожиданностью. Мы уже отчаялись в возможности достигнуть до него какими бы то ни было словами и советами, думали, что он оградил себя недосягаемой гордостью. Теперь же все не то; это я тебе говорю не только вследствие этого одного письма. В одно время и даже после этого он написал уже несколько писем к разным лицам, и все они полны искреннего, простого признания своих заблуждений и смирения неподдельного.
>
> Вообрази же себе его положение, когда он, поверивши всем упрекам и взглянувши беспристрастно на себя, увидал во многом, как истинны эти упреки и какую он сделал ошибку, напечатавши эту книгу. Вот его слова в одном письме: «Конечно, я никому не мог дать такой оплеухи как самому себе напечатанием этой книги»; и в другом месте: «Что ж делать, если уж мы так устроены, что не увидим своих недостатков, пока не укажут нам на них другие». Видно, что ему горько, глубоко больно слышать такие упреки и чувствовать, что он не прав, что сам обольстил себя; некоторые же упреки, которые он получает, столько оскорбительны, например упреки в тартюфстве, в двуличности, в обмане. Он также почувствовал, как оскорбил Погодина, и писал к нему самое нежное письмо. К Смирновой он пишет, что непременно напечатает второй том «Мертвых душ»; он только умоляет всех писать к нему все мнения, и свои и чужие, о нем и его книге; говорит, что это ему необходимо нужно. Он теперь в душе своей унижен, а не то что унижается по произволу своей гордости. Его письма так искренни и просты — именно таковы, какие мог только написать человек в его положении. Он и оправдывает себя по-своему, и, разумеется, многие места отзываются его странными взглядами, от которых же не может он отказаться вдруг, это было бы неестественно; но он уже им не доверяет слепо».

О том же писал С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану от 28

марта:

> «Не знаю, писал ли я тебе о самой радостной новости, о письмах Гоголя? Вот уже теперь четыре письма, написанные им с 4 марта: два к Шевыреву, одно ко мне и одно к Погодину, — и все эти письма писаны уже другим человеком! Уже нет ни высокомерного спокойствия, ни лицемерного смирения; но положение его ужасно. Кипяток последнего моего письма и ледяной холод письма Свербеева, обрушившиеся на него в одно и то же время, образумили и оскорбили его душу. Он благодарит меня, но в то же время негодует. Письмо его начинается так: «Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки! Хотя мне и чихнулось от вашего письма, но чихнулось во здравие!» Зато вся его нежность обратилась на Шевырева и Погодина: к последнему он пишет даже страстное письмо, что показывает еще продолжающееся болезненное состояние духа. Пусть он никогда ко мне не обратится, для меня это все равно. Для спасения Гоголя я готов сделаться и презренным орудием казни и отвратительнейшим палачом».

Вместо обычной оживленной переписки между Гоголем и Аксаковым теперь наступило долгое молчание. Первым его нарушил сам Гоголь. Он писал:

> ***«Франкфурт. <Июля 10, 1847>.***
>
> Погодин мне сделал запрос: отчего я так давно не писал к вам и не сердит ли я на вас, Сергей Тимофеевич? Я к вам не писал, потому что, во-первых, вы сами не отвечали мне на последнее письмо мое, а во-вторых, потому что вы, как я слышал, на меня за него рассердились. Ради самого Христа, войдите в мое положенье, почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать? Если бы я и в силах был сказать слово искреннее — у меня язык не поворотится. Искренним языком можно говорить только с тем, кто сколько-нибудь верит нашей искренности. Но если знаешь, что пред тобою стоит человек, уже составивший о тебе свое понятие и в нем утвердившийся, тут у наиискреннейшего человека онемеет слово; не только у меня, человека, как вы знаете, скрытного, которого и скрытность произошла от

неуменья объясниться. Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадущей душе, — из милосердия прошу вас взойти в мое положение; потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами; но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот все, что могу вам сказать теперь. Что же касается до неизменности моих сердечных отношений, то скажу вам, что любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступнее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят? Но я прошу вас теперь не о любви. Не имейте ко мне любви, но имейте хотя каплю милосердия, потому что положенье мое, повторяю вам вновь, тяжело. Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил. Друг мой, я говорю вам правду. Обнимаю вас от всей души.

Весь ваш *Г.*

Передайте поклон мой добрейшей Ольге Семеновне, а за нею Константину Сергеевичу и всем вашим. Не знаю сам, хорошо ли делаю, что пишу; может быть, и это письмо приведет вас в неудовольствие. Я теперь раскаиваюсь, что завел переписку с Погодиным. Хотя я только и думаю, принимаясь за перо, как бы не оскорбить его, но, однакоже, замечаю, что письма мои не приносят ему никакого успокоенья. При тех же понятиях, какие у него обо мне, ныне всякое слово с моей стороны обо мне самом может только его еще больше спутать. Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться…»

С. Т. Аксаков ответил:

***«1847, июля 26. Подмосковная, Радонежье.***

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Франкфурта от 10 июня. Оно меня очень огорчило, и я глубоко упрекаю себя, что так давно не писал к вам. Не знаю, почему Погодин сделал вам допрос: отчего вы так давно не пишете ко мне и не сердитесь ли на меня? Я ничего подобного ему не говорил. Я даже не ожидал от вас письма, потому что сам не отвечал вам на два. Прежде всего спешу уверить вас, что я никогда на вас не сердился (принимая это слово в настоящем его значении) и что я никогда не переставал верить искренности вашей. Грех тому опрометчивому человеку, который внушил вам такие мысли. Я подозреваю, что это сделала Смирнова: она случайно услыхала несколько строк из письма моего к сыну об вас, не поняла их и не могла понять хорошо, потому что они получали полный смысл в связи с другими, а в отрывке имели даже превратный смысл. Смирнова сделала горячую схватку с моим сыном, наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же и грозилась открыть вам глаза. Я вижу, она это исполнила; но безрассудная женщина, в которой многие достоинства я ценю высоко и которую, именно за эту вспышку, я полюбил больше, вместо открытия глаз ваших несколько отуманила их, разумеется на время. Она не подозревала, что прежде всего я с полною, жестокою искренностью излил в письмах к вам самим всю горечь огорченной дружбы к человеку и оскорбленного чувства уважения к великому таланту. Она не различила во мне любящей души от озлобления и гнева. По моему убеждению, вы книгой своей нанесли себе жестокое поражение, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горькими упреками. Вы так мне дороги, что всякий действительный вред, всякое поражение вашей славы, как писателя и человека, — мне тяжкое оскорбление! Но оставим это: если вы сами не объяснили себе моих чувств и поступков и поняли их не так, как следует, то мое объяснение не поможет. Я готов даже признать, что выражение не соответствовало чувству. Вы, мой друг, имеете право спросить: отчего я так давно не писал к вам? Мое последнее письмо требовало продолжения,

ваше — ответа. Я очень это чувствовал. Много раз принимался писать, писал и жег написанное, ибо был им недоволен… Трудно сказать, что мешало мне писать; но что-то мешало. Попытаюсь, однако, объяснить себе и вам эту странную помеху. Для этого необходимо поднять дело, хоть в нескольких словах, сначала. Первое, большое письмо мое (кажется, от 12 января) было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но *до получения* вашего ответа на мое большое письмо. Ответ ваш был ужасен… Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и боже мой! в каком положении я писал его! Я даже не желаю, чтоб вы вполне поняли мое тогдашнее положение. Ваш ответ дышал холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого призвания. Если б я получил это письмо до отправления моего второго, то не послал бы его — в этом я должен признаться; я счел бы невозможностью достигнуть до вашего ума и сердца. Но милосердный бог устроил иначе… Ответ ваш на мое второе письмо, начинающийся замечательными словами, что вам *чихнулосьво здравие*, обрадовал меня чрезвычайно, письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более. Хотя в обоих этих письмах есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы, но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого для меня было довольно. Я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите дело. Вот тут-то я и не знал, что и как писать вам: продолжать в прежнем тоне было уже неуместно, не нужно и для самого меня невозможно. Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала. Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была так мучительна. Но бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные

душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца. Вы исполните свой обет, помолитесь у гроба господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу. Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро, но будущей весной приезжайте *непременно к нам*. Полное выздоровление вы получите только на родной почве, подышав родным воздухом своей земли. Если вам почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь жить даже по зимам (кроме нынешнего года; ибо я тогда только поверю своему выздоровлению, когда проведу благополучно осень и зиму). Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы будете иметь спокойное и удобное помещение; при нас или без нас — это все равно. Не нужно говорить, рады ли будут вам ваши искренние друзья. К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть вглубь ее, в степную и приволжскую сторону. Константин может быть вашим товарищем, если вы захотите. Я сам имею намерение, если бог подкрепит мое здоровье, уехать на целый год в Оренбургскую губернию; это еще впереди. Теперь же надобно только успокоиться, забыть, сколько возможно, обо всем случившемся с вами и укрепить свое здоровье. Истребите всякую мысль, что моя дружба к вам изменилась: это нелепость и оскорбление для меня. Хотелось мне написать все письмо своей рукой, но глаз утруждается. Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, который там служит в Сенате обер-секретарем. Не знаю, дошла ли до вас диссертация Константина? 7 марта был его диспут; несмотря на многие гонения, все кончилось благополучно. Прощайте, милый друг; не могу больше писать. Обнимаю вас крепко. Вы можете адресовать одно письмо в *Сергиевской посад, Московской губернии*, на мое имя, но всего вернее через Шевырева. Все мое семейство вас обнимает.

Душою ваш *С. А.*».

Гоголь отвечал на это следующим письмом:

***«Остенде. Август 28 <1847>.***

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался,

добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, — тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Конст. Сергеевич. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, то есть, люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Конст. Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.

Не сердитесь на Смирнову, не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее бог весть был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и немудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полнее и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.

Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие

взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.

К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление, и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему, несчастная, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю бога за этот позор, благодарю за то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без нее ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «Мертвых душ», и не узнал бы <я>, ни в каком

состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.

Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя, Конст. Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава как следует голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться богу на тех самых местах, которые зрели его в образе Христа, чтобы простил мне за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.

За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие, так же, как и я, не знают России.

Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима,

проведенная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно; а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья; а я, будучи слабым и болезненным от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провести их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.

Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые, покуда, мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату.

Ваш *Н. Г.*».

Письмо это было вложено Гоголем в другое, адресованное С. П. Шевыреву, который вскоре и сообщил Гоголю, что его письмом Аксаков остался недоволен. По этому поводу Гоголь писал Шевыреву 2 декабря 1847 года:

«Весьма жалею, если моим письмом огорчил моего доброго Сергея Тимофеевича Аксакова. Но что делать? Ты видишь, что я именно уже как бы рожден на то, чтобы огорчать тех, которые меня наибольше любят. Уговор

ведь у нас был — писать все, что ни есть на душе. Я писал, что в ней было. В письмах Сергея Тимофеевича было тоже немало того, от которого бы другой огорчился. Но зачем же один я только не вправе огорчаться ничем, а прочие вправе огорчаться? Слово *размолвка* напрасно ты употребил. Храни бог от размолвки даже с людьми менее мне близкими, чем Аксаков! Что я меньше любил Аксаковых, чем они меня, это совершенная правда, и зачем мне это скрывать? Но дело в том, что я теперь больше люблю все то, что достойно любви, чем когда-либо прежде; стало быть, неминуемо должно быть, что и любовь моя к друзьям моим стала большею, чем когда-либо прежде. Это также правда, и ее ты передай Сергею Тимофеевичу, если только он действительно на меня в неудовольствии».

В том же месяце Гоголь писал и самому С. Т. Аксакову:

*<**18 декабря 1847**>*

«Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел его вам показывать, опасаясь им расстроить вас. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хоть бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, — выйдет пресное молоко. В письме моем к вам я сказал сущую правду: я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из *интереса*. Если кто-нибудь доставил мне *существенную* пользу и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше

достоин любви, чем другой, хоть он и меньше меня любит. Что ж делать? вы видите, какое творенье человек: у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать? может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас! Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это *любовь во Христе*. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются *чужим*, как своим *собственным добром*. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуйста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке!

Весь ваш *Гоголь*».

Это письмо также было вложено в письмо к Шевыреву, которому Гоголь и прибавил от себя:

«При сем следует также письмецо к Сергею Тимофеевичу Аксакову. Хотя я уверен, что неудовольствие его на меня прошло, но тем не менее пусть он из этих строк увидит, что совсем не нужно давать серьезного, строгого толкования многим нашим словам, которые вырываются весьма часто без расчета и намерения».

В следующем, 1848 году, 23 января, Гоголь вновь просит Шевырева напомнить о себе Аксаковым:

«Проси всех и особенно доброго Сергея Тимофеевича, совокупно с Константином Сергеевичем и всем семейством, писать ко мне в Константинополь».

Весною 1848 года Гоголь возвратился в Россию через Одессу. С. Т. писал ему 21 мая 1848 года:

«Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки, но… все человеческие предположения — прах и суета! Не написал 4 мая, отложил до 7-го, а 6-го я захворал… Теперь оправляюсь понемногу. Но должно все рассказать подробно и по порядку, а для этого нужна чужая рука. В самых последних числах апреля приехал ко мне рано поутру Щепкин и сказал, что вы в Одессе. Я так обрадовался, что ту же минуту хотел писать к вам, хотя решился было бросить письменные разговоры и ожидать личного свидания; но я уже был готов к отъезду в деревню (куда давно манила меня ранняя весна) и остался только до 2 мая, потому что 1-го был день рождения Хомякова. 2-го я переехал в деревню с Константином и Любенькой, остальная семья должна была переехать через неделю. Хотел было писать 4-го или 5 мая, но отложил до 9-го, чтоб тут же и поздравить вас со днем ангела; но 6 мая сделалась такая жаркая, летняя погода, что я забыл числа и подумал, что это июнь или июль, оделся полегче, посидел с удочкой на пруду подольше и тот же вечер получил воспаление в правой стороне груди и нижней части печени. Болезнь, как водится, сопровождалась сильной лихорадкой и кровохарканием. Можете себе представить положение бедных моих детей! На Константина до сих пор еще страшно смотреть. По счастию, у Троицы (в двенадцати верстах от моей деревни) есть очень порядочный лекарь, которого мы выписали и который мне очень скоро помог. Нельзя было скрыть моей болезни от остальной моей семьи, и потому все, перепуганные, прискакали ко мне.[12]

Как нарочно, на другой день их приезда, 12 мая, получил я рецидив воспаления уже в одной печени, но со всеми прежними явлениями. Тот же лекарь помог мне опять, и через несколько дней усадили меня в карету и благополучно перевезли в Москву, где я поправлялся очень быстро до вчерашнего дня; со вчерашнего же утра

я постоянно чувствую шум в голове и какую-то нервическую слабость, которая мешает мне даже диктовать письмо. Но все это, я надеюсь, скоро пройдет, и с наступлением настоящей летней погоды мы переедем уже все в нашу прекрасную деревеньку. Именинник мой с матерью у обедни. Успеют ли они сегодня написать к вам, не знаю, но сам уже откладывать не хочу. На днях вы получите драму Константина. Прочтите ее на досуге, сбросив с себя все чужие понятия, усвоенные всеми нами с младенчества. Вдумайтесь глубоко в старую русскую жизнь и произнесите суд нелицеприятный. Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака. Давно затаенная злоба на Константина (в которой он и сам много виноват), наконец, выбилась ключом бешеной слюны и помрачила даже его рассудок…

Прощайте, друг мой. Обнимаю вас крепко. Будьте здоровы, освежитесь и укрепитесь родным воздухом и приезжайте к нам. Пишите в Сергиевский посад, Московской губернии.

Ваш душою *С. Аксаков*».

Гоголь прислал на это следующий ответ:

***«Июня 8 <1848>. Васильевка.***

Как вы меня обрадовали вашими строчками, добрый друг Сергей Тимофеевич! Но меня печалит, что вы так часто хвораете. Ради бога, берегите себя. Не позабывайте ни на час, что ваша натура, нервически-пылкая, склонна более других к простудам. Теперь вечера очень опасны. Именно оттого, что дни невыносимо жарки и в воздухе засухи. Имейте всегда кого-нибудь при себе с плащом, который бы мог набросить его на вас в ту же минуту, как только станет холодеть. Теперь тысячами вокруг болеют и мрут. В Полтавской губернии свирепствует холера почти повсеместно и в самой Полтаве. Бог да хранит вас! Драмы Константина Сергеевича я еще не имею; сегодня, однако, пришло объявленье о посылке на рубль с половиной серебром. Вероятно, это она. Я ее прочту с любопытством уже и потому, что в ней должен заключаться вопрос, решеньем которого я серьезно теперь занят не менее самого Константина Сергеевича. Поблагодарите Ольгу Семеновну и милых дочерей ваших за то, что они не позабывали матушку и сестер.

Весь ваш *Н. Г.*».

Аксаков получил это письмо уже в своей подмосковной, в Абрамцеве, откуда и отвечал Гоголю 21 июня 1848 года;

> «Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, от 8 июня и очень ему обрадовался. Благодарю вас за добрые советы: они совершенно справедливы, и я волею-неволею следую им постоянно. Вы знаете, сколько за мною блюстителей. Боюсь только, чтобы сохранение меня от простуды не было доведено до излишества. С 8 июня мы живем в нашей прелестной деревеньке, и я вполне наслаждался бы природою, если б мы не были встревожены нездоровьем Веры: у ней сильное раздражение желудка и всей нервной системы. Когда мы уезжали из Москвы, там была сильная холера, но теперь, благодаря бога, стала гораздо потише. У Троицы и кругом около нас также есть эта болезнь, но в слабом виде и, кажется, исчезает.
>
> Вы не можете себе представить, с каким нетерпением стану ждать я каждую почту вашего письма *по прочтении* драмы. Если б я не был отцом сочинителя, то непременно напечатал бы об ней критическую статью. Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее. Завтра же начну писать и, каков бы ни был ваш суд, не переменю в ней ни одного слова. Два года тому назад провел я зиму в деревне и, между прочим, написал книжку под названием: «Записки об уженье», которую к вам и посылаю. Она невелика, вы прочтете ее на досуге. Я писал ее с большим наслаждением. Воспоминание прошедшего освежало и оживляло меня. Если бог исполнит мое желание и я проведу эту зиму в деревне, то начну писать другую книжку: «Об охоте с ружьем»; с двенадцатилетнего возраста до тридцатилетнего я был предан этой охоте страстно, безумно. Я уже написал «Прилет птицы весною» и думаю, что даже не охотник может прочесть с удовольствием этот отрывок. «Семейная хроника» пишется как-то вяло. Кажется, надобно переменить план: сократить подробности и не соблюдать строгой последовательности. Вот как много наболтал я вам о себе. Прощайте! Да сохранит вас бог здрава и невредима. Обнимаю вас. Мое почтение вашей доброй матушке и сестрицам. Душою ваш С. Аксаков. Все мои вас обнимают. Костя вам кое-что посылает».

Гоголь отвечал на это письмо из Васильевки 12 июля 1848

года:

«И за письмо и за книги благодарю вас, добрый Сергей Тимофеевич. Как ни слаб я после недуга, от которого еще не оправился как следует, но не могу отказать себе написать к вам несколько строчек. Какое убийственно нездоровое время и какой удушливо томительный воздух! Только три или четыре дни по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска (еще более оттого, что никакое умственное занятие не идет в голову). Даже читать самого легкого чтенья не в силах. А потому не ждите от меня покуда никаких отчетов относительно впечатлений, произведенных присланными книгами. Я после напишу Константину Сергеевичу мое мнение о его драме. Статья его о современном споре мне понравилась, может быть, оттого, что во время чтенья голова моя была свежа и внимания достало на небольшую статью. Ваш разбор драмы я бы желал нетерпеливо прочесть хотя по кусочкам. Мне кажется, вы сделаете очень нелишнее дело, если займетесь <им>, тем более, что самый предмет, о котором пойдет речь, так важен для всех нас, что и сама драма и сам сочинитель могут остаться почти в стороне. В драме постигнуто *высшее свойство* нашего народа — вот ее главное достоинство! Недостаток — что, кроме этого высшего свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела нашего, бестелесен. Зачем Константин Сергеевич выбрал форму драмы? Зачем не написал прямо историю этого времени? Странное дело, когда разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор предо мною тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу. Наместо действия я слышу словопрения, и мне кажется

все бледно. Не распространяю этих слов на драму Константина Сергеевича. В ней вялости нет, язык свеж, речь жива. Но зачем, не бывши драматургом, писать драму? Как будто свойства драматурга можно приобресть! Как будто для этого достаточно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно *осязательное, пластическое* творчество, и ничто другое. Его ничем нельзя заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из нее сочинения.

Может быть, все это, что я вам теперь говорю, есть плод нынешнего мутного состоянья моей головы, неспособной рассуждать отчетливо и ясно; может быть, в другой раз, когда прочту внимательней это сочинение, и притом в минуту более свежую, я выражусь иначе и лучше; но мне кажется, я и тогда не соглашусь с Константином Сергеевичем, будто драма есть художественное понимание истории в известную эпоху. Скорей разве можно сказать художественное *воспроизведенье* ее. Пониманья одного мало для драмы. Но обо всем этом потолкуем после. Сочиненье это во всяком случае *немаловажно* и всегда останется замечательно тою высокою задачей, которую оно задало нам и над которою стоит всякому истинно-русскому поразмыслить и порассудить сурьезно. Прощайте, добрейший Сергей Тимофеевич. Обнимаю вас крепко.

Не знаю, когда с вами увижусь. Хотел было ехать теперь, несмотря на болезненную слабость, но узнал, что дилижансы из Харькова в Москву уничтожились. Заводить свой экипаж нет средств и скука. Попутчика покуда не отыскивается. Напишите мне слова два о Михаиле Семеновиче, не будет ли он в Харькове? Он, кажется, имеет обыкновение заглядывать туда в августе около ярмарки. Как бы мне было приятно прокатиться с ним! Пишите.

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Всем вашим дружеский поклон».

Константин Аксаков еще ранее, при первом известии о возвращении Гоголя в Россию и в ожидании свидания с ним, писал ему в Васильевку о «Выбранных местах из переписки с друзьями»:

«Полная откровенность необходима… Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Во всем, что вы

писали в письмах, и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это *ложь*. Ложь не в смысле *обмана* и не в смысле *ошибки*, нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою. Такая ложь, ложь внутренняя, рядится всего более в одежду правды, искренности, простоты и прямоты. Такова ваша книга».

Гоголь писал в ответ:

***«Июня 3 <1848>. Васильевка.***

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в вашем письме все, что было на языке, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были вызваны при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило, что вы, наместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению. Я, однакоже, прочел со вниманием три большие ваши страницы. Многое в них дало мне знать, что вы с тех пор, как мы с вами расстались, следили (историческим и философическим путем) существо природы русского человека и, вероятно, сделали немало значительных выводов. Тем с большим нетерпением жажду прочесть вашу драму, которой покуда в руках еще не имею. Вот еще вам одна мысль, которая пришла мне в то время в голову, когда я прочел слова письма вашего: *«Главный недостаток книги (моей) суть тот, что она — ложь»*. Вот что я подумал: да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на верху истины? Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь, а что истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле? Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь, он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла? Неужели вы думаете, что в ваших суждениях о моей книге не может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее; а когда

прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен или что вы не измените его никогда, тогда как, идя по той же дороге исследований, вы можете найти новые стороны, дотоле вами не замеченные, вследствие чего и самый взгляд уже не будет совершенно тот и что казалось прежде целым, окажется только частью целого. Нет, Константин Сергеевич, есть дух обольщения, дух-искуситель, который не дремлет и который так же хлопочет и около вас, как около меня, и, увы! чаще всего бывает он возле нас в то время, когда думаем, что он далеко, что мы освободились от него и от лжи и что сама истина говорит нашими устами. Вот какие мысли пришли мне в то время, когда я читал приговор ваш книге, на которую до сих пор еще я не имею духу взглянуть. Скажу вам также, что мне становится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, возвещающего слишком утвердительно свой вывод как непреложную непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей утвердительностью, но приводить больше *доказательств*.

Драму вашу я прочту со вниманием и даю вам слово не скрыть своего мнения. Она тем более для меня интересна, что, вероятно, в ней я отыщу яснейшее изложение всего того, о чем вы говорите в письме вашем несколько неопределенно и неясно. Прощайте, Константин Сергеевич! Бог вам в помощь! Когда-нибудь переговорим о многом лично, и это, вероятно, будет лучше всяких письменных рассуждений. Покуда не сердитесь на критики в журналах и не называйте их также следствиями вражды, зависти и тому подобного. Во всякой из них может быть та частица правды, которая только сначала колет в глаза, но если прочтешь несколько раз, она будет целительна и полезна.

Искренне желающий вам добра и любящий вас
*Н. Гоголь».*

Осенью 1848 года Гоголь приехал в Москву. В письмах Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской рассказывается о встречах с ним:

*14 июня*. «Не помню, писала ли я тебе, что Гоголь уже в

Малороссии и в августе собирается в Москву. Константин писал ему откровенное письмо; как-то он его примет?»

*30 сентября*. «Гоголь теперь в Петербурге. Он был в Москве, мы его видели; он мало наружно переменился, но кажется, как будто не тот Гоголь. Константин в минуту свидания забыл все и задушил было его обнимая».

*13 октября*. «Ты меня спрашиваешь о Гоголе; Иван может передать подробно наше свидание. Примирение произошло еще на письмах. Все ему обрадовались, и отношения остались по-прежнему дружеские; но только все казалось, это не тот Гоголь».

*29 ноября*. «Гоголь у нас по-прежнему бывает так же часто; он веселее и разговорчивее, нежели был прежде; говорит откровенно и о своей книге и вообще стал проще, как все находят. Он твердо намерен продолжать «Мертвые души».

*22 декабря*. «Сегодня обедают у нас Гоголь и другие».

Сам С. Т. рассказывает об этих встречах и **о зиме 1848/1849 года** так:

> «Когда Гоголь приехал из Малороссии в Москву (в сентябре 1848 года), я был в деревне и только в октябре переселился в город. В тот же вечер пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки. В непродолжительном времени восстановились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения; но об его книге и втором томе «Мертвых душ» не было и помину. Гоголь в эту зиму прочел нам всю «Одиссею», переведенную Жуковским. Он слишком восхищался этим переводом. Я и сын мой Константин были не совсем согласны с ним. Разумеется, это было ему неприятно, но он не показывал никакого неудовольствия. Один раз, когда мы высказали ему немалое число самых неопровержимых замечаний на перевод «Одиссеи», Гоголь сказал: «Напишите все это и пошлите Жуковскому; он будет вам очень благодарен».
>
> Часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные г-м Терещенко, и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен. Гоголь всегда любил читать; но должно сказать, что он читал с неподражаемым совершенством только все комическое в прозе, или, пожалуй, чувствительное, но одетое формою юмора; все же чисто патетическое, как говорится, и лирическое Гоголь читал нараспев. Он хотел, чтобы ни один звук стиха не терял своей

музыкальности, и, привыкнув к его чтению, можно было чувствовать силу и гармонию стиха. Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. Я в этом, как вижу теперь, ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физически, как в эту зиму, то есть в ноябре и декабре 1848-го и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но тело на нем сделалось очень крепко. Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки. Я радовался и благодарил бога. Надобно заметить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не мог выносить сильного холода и что теперь он одевался очень легко. Но недолго предавался я радостным надеждам на совершенное восстановление его здоровья. С появлением первых оттепелей Гоголь стал задумчивее, вялее, и хандра, очевидно, стала им овладевать. Однако 19 марта, в день его рожденья, который он всегда проводил у нас, я получил от него следующую довольно веселую записку:

«Любезный друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло».

Именины свои, 9 мая, Гоголь праздновал по-прежнему в саду у М. П. Погодина, и 7 мая я получил от него следующую записку (было одно обстоятельство, не касавшееся Гоголя, но которое не позволило ему сделать нам прямого приглашения):

«Мне хотелось бы, держась старины, послезавтра отобедать в кругу коротких приятелей в погодинском саду. Звать на именины самому неловко. Не можете ли вы дать знать или сами, или чрез Константина Сергеевича Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову совокупно с Мельгуновым? Придумайте, как это сделать ловче, и дайте мне потом ответ. Если можно, заблаговременно».

**Летом 1849 года** Гоголь посетил Абрамцево. Аксаков так рассказывает об этом:

«Гоголь много гулял у нас по рощам и забавлялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться домой. Я почти видел, как он это делал. По вечерам читал с большим одушевлением переводы древних Мерзлякова, из которых особенно ему нравились гимны Гомера. Так шли вечера до 18-го числа. 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал:

— Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ»?

Мы были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе «Мертвых душ». Сын мой Константин даже встал, чтоб принести их сверху, из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал:

— Нет, уж я вам прочту из второго.

И с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь.

Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу второго тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, — и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпанный нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх, в свою комнату, потому что уже прошел час, в который он обыкновенно ложился спать, то есть одиннадцать часов.

Тут только мы догадались, что Гоголь с первого дня имел намерение прочесть нам первую главу из второго тома «Мертвых душ», которая одна, по его словам, была отделана, и ждал от нас только какого-нибудь вызывающего слова. Тут только припомнили мы, что Гоголь много раз опускал руку в карман, как бы хотел что-то вытащить, но вынимал пустую руку.

На другой день Гоголь требовал от меня замечаний на прочитанную главу, но нам помешали говорить о «Мертвых душах». Он уехал в Москву, и я написал к нему письмо, в котором сделал несколько замечаний и указал

на особенные, по моему мнению, красоты».

Вот это письмо от **27 августа 1849 года:**

«Я чувствую душевную потребность сказать вам несколько слов, милый друг Николай Васильевич. Я должен перед вами покаяться. После всего случившегося в течение последних семи лет я, Фома неверный, как вы сами меня назвали, потерял было веру в дальнейшее существование вашего творческого таланта. Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава богу! Благодарю вас, что вы, наконец, решились рассеять мое заблуждение. Вы знали его; но не знали, как тяжело было мне смотреть на вас, на мнимого страдальца, утратившего плодотворную силу своего творчества, но не потерявшего стремления, необходимости творить. Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки. Но теперь все забыто! Слава богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже, что я и сказал вам сейчас после чтения.

Может быть, вы хотели бы слышать от меня критическую оценку, но я не могу этого сделать. Я слушал с таким волнением, а сначала и с предубеждением, что подробности впечатлений скоро поглотились одним чувством наслаждения. Притом же я никогда не могу судить верно о подробностях, *слушая в первый раз:* мне надобно прочесть своим глазом. Но вот что у меня осталось в памяти: 1) Мне показалось, что сначала как-то трудно и тяжело выражались вы. 2) Мне показался несколько длинным и натянутым рассказ об Александре Петровиче. 3) Встреча в деревне крестьянами молодого барина как будто жидка и одностороння. Но я не ручаюсь за верность моих замечаний. Если вы захотите их иметь, то дайте мне тетрадь в руки. — Да подкрепит бог ваше здоровье и благословит окончательные труды ваши: ибо я считаю, что «Мертвые души» написаны и что теперь остается последняя отделка. Я прошу у бога милости дожить до их появления, при настоящем моем уме и чувствах. Я хочу вполне насладиться не только восстановлением вашей славы, но и полным торжеством вашим на всем пространстве Руси…

Как утешили вы меня, Константина и все наше семейство! Как долго мы были полны только одним

чувством, о которое притуплялось даже горе… Прочь все теории и умствования: да будет благословенно искусство на земле!

Крепко вас обнимаю. Душой ваш *С. Аксаков*.

Иван вам кланяется. Он спрашивает, читали ли вы стихотворения Григория Богослова? Если нет, то прочтите. — В Рыбинске играли «Ревизора»; в половине пиесы актеры, видя, что зрители больше их похожи на действующие лица, помирали все со смеху».

Аксаков продолжает свой рассказ:

«Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. Он нанял карету, лошадей и в тот же день прикатил к нам в Абрамцево. Он приехал необыкновенно весел, или, лучше сказать, светел, и сейчас сказал:

— Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, *пристрастный* ко мне.

Гоголь прожил у нас целую неделю; до обеда раза два выходил гулять, а остальное время работал; после же обеда всегда что-нибудь читали. Мы просили его прочесть следующие главы, но он убедительно просил, чтоб я погодил. Тут он сказал мне, что он прочел уже несколько глав А. О. Смирновой и С. П. Шевыреву, что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет мне их непременно, когда они будут готовы.

6 сентября Гоголь уехал в Москву вместе с Ольгою Семеновной. Прощаясь, он повторил ей обещание прочесть нам следующие главы «Мертвых душ» и велел непременно сказать это мне.

В генваре 1850 года Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал:

— Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине. Поправки, по-видимому, самые ничтожные: там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны.

Оказалось, что он воспользовался всеми сделанными ему замечаниями.

Января 19-го Гоголь прочел нам вторую главу второго тома «Мертвых душ», которая была довольно отделана и не уступала первой в достоинстве; а до отъезда своего в Малороссию он прочел третью и четвертую главы».

Отъезд Гоголя из Москвы на Украину, вдвоем с М. А. Максимовичем, на долгих совершился летом 1850 года из дома Аксаковых. Гоголь прислал С. Т. записку по этому случаю:

«Мы с Максимовичем заедем к вам на дороге, то есть перед самым отъездом, часу во втором, стало быть во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем.

Весь ваш *Н. Г.*».

Несколько ранее Гоголь написал записку и Константину Аксакову:

«Оказывается, что вам очень недурно съездить в Киев, Константин Сергеевич: во-первых, чтобы не обидеть первопрестольной столицы, а во-вторых, чтобы, задавши работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напуском пехондачка, совокупно с нами оттопавши дорогу до Глухова, откуда Киев уже под носом, и потом по благоусмотрению можете устроить возврат».

По всей вероятности, к этому году относится следующая записка Аксакова:

«Зачем же вы хвораете, друг мой? Я третий день опять болен и начал лечиться земляничным корнем. Константин уехал с тем, чтобы побывать у вас. Крепко вас обнимаю.

Ваш друг *С. Аксаков*. 11 февраля».

На это последовала ответная записка Гоголя, помеченная карандашом — **1850 г., февраль**:

«Чувствую лучше. Простуда и жар в голове уменьшается. Овер одобрил все, сделанное моим доктором. Надеюсь если не сегодня, то завтра выйти на воздух. Рад, что вы также чувствуете лучше. За все слава богу.

Весь ваш *Н. Г.*».

Позднее **(2 декабря 1850 г.)** Гоголь писал Плетневу:

«Последняя зима, проведенная мною в Москве, далась мне знать сильно. Думал было, что укрепился и запасся здоровьем на юге надолго, но не тут-то было. Зима третьего года кое-как перекочкалась, но прошлого едва-едва вынеслась».

По отъезде Гоголя на Украину Аксаков долго не имел от него известий; письмо от Гоголя пришло уже поздней осенью, из Одессы:

***«7 ноября <1850>. Одесса.***

Уведомляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, что я в Одессе и, может быть, останусь здесь всю зиму, хоть, признаюсь, здешняя зима мало чем лучше московской. Но нечего делать, с паспортом я опоздал. А отсюда подыматься на север тоже поздно. Видел я Казначеева, который мне показался весьма добрым человеком. Часто видаюсь со Стурдзой, с кн. Репниными, Титовыми и со многими старыми товарищами по школе, но чувствую, что вас недостает. Пожалуйста, уведомьте меня о себе, о всех ваших и о всем, что до вас относится, о сем прошу и Константина Сергеевича. Продолжаете ли записки? Смотрите, чтобы нам как увидимся, было не стыдно друг перед другом и было бы что прочесть. Константину и Ивану Сергеевичам также.

Пишите: В Одессу. В доме генерал-майора Трощинского.

Весь ваш *Н. Г.*

Душевный поклон Ольге Семеновне, Вере Сергеевне и всему дому».

Аксаков отвечал Гоголю:

***«Москва. Декабря 3-го <1850>.***

Наконец, я получил прямую весточку от вас, милый друг Николай Васильевич! Итак, вы в Одессе и ваше намерение провесть зиму под теплым небом Бейрута не состоялось. Я должен признаться вам, что обрадовался этому известию. Одесса близехонько благодаря легкости

и удобству сообщений! Мне страшно было думать, что вы опять заедете так далеко, и я не верил и не верую в мысль, чтоб это чужое тепло было полезно вашему здоровью; а ведь о нем-то и речь идет. Поверьте, что я не увлекаюсь эгоизмом и не подкуплен возможностью скорого свидания с вами: возможностью сесть да и приехать в Москву. Будьте здоровы, доканчивайте успешно свой великий труд и не ездите в Москву хоть целый год.

Я один раз только имел известие, что вы живете в Васильевке, что вы здоровы и сбираетесь в Одессу, чтоб оттуда ехать дальше. О Максимовиче до сих пор ничего не знаем. — Теперь следует рассказать вам по порядку все, что случилось с нами в продолжение шестимесячной разлуки. 4 июня я переехал в свою подмосковную, где я прожил до 21 ноября. До наступления зимы, которая явилась у нас почти месяцем ранее обыкновенного, я неутомимо удил и ходил за грибами и был довольно здоров; последний же месяц писал ежедневно свои охотничьи записки и кончил отделение степной, или полевой, дичи, начатое в Москве; написал даже кое-что в техническое отделение моих записок. По совести должен сказать, что я доволен только некоторыми местами. Я переехал в Москву с гораздо большей неохотою, чем когда-нибудь. Послезавтра две недели, как я переехал и до сих пор еще не начал примиряться со своим положением. Не могу возбудить в себе никакого интереса к окружающим меня предметам. Все мне чуждо и скучно. Писать ничего не могу. Событие, которое в другое время не только бы занимало, но и волновало меня, то есть постановка на сцену драмы Константина, я точно вижу как во сне. Кроме личного участия в сочинителе, тут решаются два важные вопроса: можно ли перенесть с успехом на сцену, в ее настоящем значении, драматизм исторической старой русской жизни хотя в одном моменте, или простота ее так велика, что для сцены не годится? Второй вопрос еще важнее: сохранилось ли настолько в низших слоях общества (а не народа) и развилось ли в нас русского чувства, чтоб мы способны были почувствовать эту жизнь! Эту пиесу выпросил себе в бенефис один плохой актер Леонидов, и Константин дал мимоходом согласие, предполагая, что это дело, по многим причинам, не состоится; а между тем оно состоялось, и 13 декабря драма идет. Я

предполагал, что все актеры, особенно по нерасположению к бенефицианту, будут весьма недовольны постановкой этой пиесы. Может быть, оно сначала так и было; но когда Константин, при первой считке, прочел ее с совершенною простотою и горячим одушевлением, все были увлечены и многие растроганы до слез. Лучшие актеры захотели играть по нескольку лиц в народе, и со вчерашнего дня начались уже репетиции, которые будут продолжаться даже по ночам, после спектаклей, за недостатком времени и свободной сцены. Признаюсь, этого я никак не ожидал и начинаю думать, что многие места произведут сильное действие. Святость содержания драмы и простота, никому не заметная, в совершении великих дел понята толпой актеров, вполне оторванных от народа, недостаточно образованных, чтоб понять его, и забитых представлением лиц, почти всегда совершенно им чуждых!.. Согласитесь, что этого никак нельзя было ожидать. Хочу сделать глупость: ехать на первое представление в литерную ложу, где бы я мог спрятаться от блеска ламп и от зрителей, ибо я никого не хочу соблазнять своим нарядом. Непременно напишу подробно обо всем вам.

Константин, Вера и Надя съездили в Киев и остались очень довольны своим путешествием: чудное местоположение Киева в соединении с его историческим и религиозным значением произвело глубокое впечатление на всех. Малороссия поэтически подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Константина. Впрочем, главная цель поездки не достигнута: здоровье Веры находится в прежнем положении, как и главной больной, Оленьки; все же остальные — слава богу. Гриша мой служит покуда в Петербурге, а Иван продолжает неутомимо подвизаться в Ярославской губернии. Много нового, любопытного и важного открыл он своим следствием; от него же узнает правительство и все те, кому знать надлежит.

Вот вам, милый друг, рапорт обо всех нас. Старуха моя с прежним самозабвением хлопочет обо всем, и покуда бог хранит ее здоровье. Хомякова еще нет; я крепко звал его к 13 декабрю, но он ничего не отвечает. Кошелев, Томашевский и брат кланяются вам. Жена и вся моя семья вас обнимают. В Москве обдали меня

потоком таких гадких вестей, что затыкаю уши. Старинный друг мой и ваш хороший знакомый Кавелин кончил жизнь. Казначеев — добрейший человек и самый старший из моих друзей: мы дружны с ним сорок два года. Я напишу к нему.

Крепко вас обнимаю и молю у бога сил и здоровья вам.

Ваш *С. Аксаков*».

В ответ на это Гоголь писал:

***«Одесса. Декабря 23 <1850>.***

Очень обрадовали меня вашим письмецом, добрый друг Сергей Тимофеевич. Слава богу, вы здравствуете, хоть и не так, может быть, как хотелось бы; но… за все слава богу! Если будем довольствоваться малым, дастся и больше. Меня тоже бог милует и хранит: зима здешняя благоприятна мне. Занятия мои потихоньку идут. Весной хочется быть в Москве, повидаться с вами и с Москвой. Очень рад, что драма Константина Сергеевича попала на сцену. Весьма меня обяжете, если уведомите, как она шла, каково общее впечатление и что говорят о ней порознь? Затем обнимаю вас от всей души и поздравляю совокупно, со всем милым вашим семейством всех с наступающим годом. Дай бог, <чтоб> он каждому из вас принес в душу много радостей таких, за которые беспрерывно хочется благодарить бога.

Ваш весь *Н. Гоголь*».

Одновременно с тем и сам С. Т. Аксаков писал Гоголю:

***«Москва, 25 декабря <1850>. Понедельник.***

Поздравляю вас, милый друг Николай Васильевич, с великим праздником. Давно бы следовало мне написать вам о представлении драмы Константина, которое было 14 декабря; но в продолжение этих десяти дней много было у меня смущений разных и нездоровья. Не знаю, как сказать вам об успехе драмы? Если сильное раздражение в одной части публики, внимание — в другой и сочувствие — в третьей, небольшой, части общества может назваться успехом, то успех был огромный. До сих пор Москва полна разговоров, брани и клевет на автора. Я был сам в театре, который битком

набился народом. Еще до поднятия занавеса можно было видеть, что везде рассыпаны шикальщики, которые мешали всему без разбора и с такою наглостью, что общий голос публики называет их полицейскими служителями. Впрочем, мы убеждены, что это было сделано без дозволения графа Закревского, и слышали, что он был очень недоволен. Мнимая русская аристократия и высшее дворянство, не знаю почему, изволили обидеться и бояться донельзя, особенно Трубецкие и Салтыковы. Я имел счастие услышать, что про моего Константина говорили речи, какие я слыхал про вас после «Ревизора» и «Мертвых душ», то есть: «В кандалы бы автора да в Сибирь!» Пиеса остановлена до разрешения из Петербурга; но, вероятно, не будет представляться. Да и в самом деле, зачем предлагать публике душеспасительную духовную пищу, если она производит в ней физическую тошноту и рвоту.

Вы знаете драму. Она никогда не назначалась для театра и написана без всякого сценического искусства; но строгая истинность исторических событий и горячее чувство автора очень слышны на сцене, и многие места производят сильное впечатление. Для меня по крайней мере вопрос русской драмы решен: она может и должна быть, но непременно древняя, ибо в настоящее время русской жизнью живет один крестьянин. Что касается до русского чувства, то оно и сохранилось и пробудилось в доказательство, как хорошо актеры поняли пиесу. Посылаю стихи Ленского, прочтенные на обеде Константину.

Крепко вас обнимаю. Вся голова болит. Все вам кланяются.

Ваш друг *С. Аксаков*».

Январь, февраль и март наступившего 1851 года Гоголь провел в Одессе. Но следующее письмо Аксакова уже не застало Гоголя в Одессе.

***«1851, 19 марта. Москва.***

Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич, в новый ваш год! Крепко вас обнимаю и поздравляю. Несколько любящих вас приятелей заранее согласились была сегодня обедать у нас, но, как нарочно, что-то угораздило Погодина с Шевыревым устроить сегодня обед Иордану. Не только все наши гости обедают там, но

и Константина утащили. Надеюсь, однако, что Бодянский отобедает и придет к нам. Хотя варенников есть не будем, но послушаем: «Ой, на дворе метелица».

Давненько не писал я к вам… А от вас уж и не помню, когда получил грамотку. Хоть ваше молчанье я считаю добрым знаком, но это чересчур. В последнее время я крепко расстроился было своими нервами, которые расплясались у меня, как у истерической женщины; теперь понемногу поправляюсь. Причину такой передряги перескажу вам лично. Странное дело: эта нервическая хворь не только не мешала, но даже помогала мне работать над моими записками, которые кончены, и это меня даже огорчает. Конечно, возни за ними осталось еще довольно, но она не может так сильно меня занимать; а без занятий нашему брату плохо. Мне кто-то сказывал, что вы до приезда в Москву поедете на южный берег Крыма. Если это правда, то я боюсь, что это письмо не застанет вас в Одессе и что вы не скоро к нам приедете.

Жду вас с нетерпением: хочу слушать и читать. Прощайте, друг мой! Обнимите за меня Казначеева и скажите ему, что его грамотка шла ко мне два месяца. Прощайте!

Всею душою ваш *С. Аксаков*».

Гоголь отвечал:

***«Мая 14 <1851>, д. Васильевка.***

Милое ваше письмо, добрый друг Сергей Тимофеевич, получил уже здесь, в Малороссии, и благодарю вас за поздравления с днем рожденья моего, и вас, и Ольгу Семеновну, и Константина Сергеевича, и всю семью. На днях выезжаю в Москву. Вероятно, вы уже будете в вашей подмосковной, но постараюсь заглянуть к вам и туда. О Максимовиче не имею никаких вестей; слышал только, что был он болен, и ничего больше. Весна здесь так благоприятна, как давно не было. Обнимаю вас — до свиданья!

Ваш *Н. Гоголь*».

Вскоре Гоголь прибыл в Москву, откуда проехал в Абрамцево. Аксаков вспоминал об этом времени:

«В 1851 году Гоголь был у нас в деревне три раза; в

июне, в половине сентября, когда он сбирался на свадьбу сестры своей в Васильевку, откуда хотел проехать на зиму опять в Одессу, и, наконец, в третий раз 30 сентября, когда он уже воротился с дороги, из Оптиной пустыни. Он был постоянно грустен и говорил, что в Оптиной пустыни почувствовал себя очень дурно и, опасаясь расхвораться, приехать на свадьбу больным и всех расстроить, решился воротиться. Очень было заметно, что его постоянно смущала мысль о том, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, в день рождения своей матери, Гоголь ездил к обедне в Сергиевскую лавру и на возвратном пути заезжал в Хотьков монастырь. За обедом Гоголь поразвеселился, а вечером был очень весел. Пелись малороссийские песни, и Гоголь сам пел очень забавно. Это было его последнее посещение Абрамцева и последнее свидание со мною. 3 октября он уехал в Москву».

Спустя три месяца и семнадцать дней последовала кончина Гоголя. За этот промежуток времени сохранилась одна только записка Аксакова к Гоголю, от 9 января 1852 года, из Абрамцева:

«Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Как поживаете? Я кое-как перебиваюсь. Посылаю с Иваном половину моих записок, чтоб процензуровать и печатать; остальную половину пришлю через неделю. — Поздравляю вас с прошедшими праздниками и наступившим Новым годом. 1852 год должен быть ознаменован появлением второго тома «Мертвых душ». Каково ваше здоровье и как идет дело? По слухам, кажется, недурно. Я не надеюсь скоро вас обнять. Не могу и подумать о зимней дороге и возке; да и жить мне в нашей квартире неудобно. Я уже дал доверенность Ивану по всем моим делам. Крепко вас обнимаю. Молю бога, чтоб он подкрепил ваши силы.

Душою ваш *С. Аксаков*.

9 января.

Все мои вас обнимают и поздравляют».

Об этих месяцах жизни Гоголя сам С. Т. вспоминает так:

«В продолжение октября и ноября Гоголь, вероятно, чувствовал себя лучше и мог успешно работать, что доказывается несколькими его записками. В одной из

них, между прочим, он писал: «Слава богу за все. Дело кое-как идет. Может быть, оно и лучше, если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то беспорядка, как всегда бывает осенью, когда человек возится и выбирает место, как усесться, а еще не уселся». Следующие слова из другой записки показывают, что Гоголь был доволен своею работой: «Если бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, я как-нибудь управлюсь». Потом дошли до меня слухи, что Гоголь опять расстроился. Я писал к нему и спрашивал, как подвигается его труд, и получил от него следующую печальную, последнюю записку, писанную или в исходе декабря 1851 года, или в начале января 1852 года: «Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение. Ваш весь Н. Г. Обнимаю вместе с вами весь дом ваш».

О последних днях Гоголя, среди материалов, собранных для «Истории моего знакомства», имеется отрывок из письма жившей в Москве Веры Сергеевны в Абрамцево, к отцу, а также отрывок из ее письма к матери Гоголя. Вот первый из них:

> «Сегодня Овер удивил нас своими рассуждениями о Гоголе. Как мог он так истинно понять его и то, как должны были бы поступать с ним друзья! Даже слишком было больно слышать, что теперь… нельзя исправить. Но, видно, так богу угодно, таковы судьбы божии и для России. Но грустно, грустно. И никого близких из наших не было около него».

Отрывок из письма В. С. Аксаковой к матери Гоголя:

> «Я вам обещала, добрая Марья Ивановна, описание наших последних свиданий с Николаем Васильевичем. Хотя в них особенного ничего не было, но я знаю, что вам все дорого. — Мы жили эту зиму в деревне по обстоятельствам денежным; больной сестре был нанят маленький домик, и кто-нибудь из братьев и из сестер постоянно с ней жил. Николай Васильевич очень уговаривал нанять большой дом и переехать всем, уверяя, что жить на два дома не будет выгодно… После половины января (1852 г.) я с сестрою Надей поехала в

Москву. Как приехали, дали знать Николаю Васильевичу. Он навестил нас, и мы нашли его довольно бодрым; но в это время занемогла жена Хомякова, сестра Языкова, с которым Николай Васильевич был так дружен. Всех очень встревожила и огорчила болезнь такой молодой женщины. Николай Васильевич навещал нас через день; хотя на короткое время, но приходил непременно узнать, что у нас делается, какие вести из деревни?.. Вы, может быть, слышали, что у нас как-то певались малороссийские песни, и Николай Васильевич сам их напевал для того, чтобы класть на ноты. Желая ему сделать приятное, сестра предложила ему заняться опять песнями. Хомяковой сделалось получше, и мы назначили день, чтобы собраться; но больной сделалось опять хуже, и накануне назначенного дня она скончалась, тридцати пяти лет, оставя семь маленьких детей и мужа, любившего ее всею душой. Эта кончина поразила и огорчила всех, но Николая Васильевича она особенно расстроила. Он был на первой панихиде и насилу мог остаться до конца. На другой день он был у нас и говорил, что его это очень расстроило. «Вот как!..» — сказал он, грустно здороваясь с нами; говорил, что боялся в тот день посылать узнавать о ее здоровье и только ждал извещения от Хомяковых, которое и не замедлило прийти. Спросил, где ее положат? Мы сказали: в Даниловом монастыре возле Языкова Николая Михайловича. Он покачал головой, сказал что-то об Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли. На другой день, во вторник, мы не видали Николая Васильевича; в этот день — похороны. На них он не был. На третий день, в середу, пришел он; мы его спросили, отчего он не был? Он сказал, что слишком был расстроен, не мог. Разговор, разумеется, все был о том же. Он сказал: «Я отслужил сам один панихиду по Екатерине Михайловне и помянул вместе всех близких, прежде отшедших; и она, как будто в благодарность, привела их всех так живо перед меня. Мне стало легче. Но страшна минута смерти». — Почему же страшна? сказал кто-то из нас. Только бы быть уверену в милости божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать (о смерти). — «Ну, об этом надобно спросить тех, кто

перешел через эту минуту», — сказал он. И в самом деле, с этих пор (после того, как отслужил панихиду) он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел; по крайней мере таким мы его видели во все последние раза. Через день опять он пришел и именно утром. Братья наши разъехались: один в Курск, другой в деревню; к нам принесли корректуру Николаю Васильевичу. Я послала ему с запиской. Он приходит и говорит, что получил записку, но корректуры не получал; сказал, что только что от обедни. Это была пятница перед масленой; в субботу приходилось сретение, и потому поминальную субботнюю службу служили в пятницу. Видно было, что он находился под впечатлением этой службы; мысли его были все обращены к тому миру. Он был светел, даже весел, говорил много и все об одном и том же. Он говорил, что надобно посоветовать Хомякову читать самому псалтырь по своей жене, что это для него и для нее будет утешение и что тогда только имеет смысл чтение псалтыри по умершим, когда читают близкие; говорил о впечатлении смерти на людей, о том, возможно ли человека воспитать так с малых лет, чтоб он понимал значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала как будто нечаянность. Говорил об одной знакомой старушке, которая по своему дурному нраву возбудила против себя негодование всех. Он говорил о том, как гнев опасен: раздражает других; хвалил очень своего приходского священника и всю службу в его приходе. День был прекрасный, ясный; мы спросили его, работал ли он сегодня? «Нет еще, — сказал он, улыбаясь, — вышел с утра из дома». — Надобно вам теперь позаняться (сказали мы). — «Надобно, — отвечал он, — но не знаю, как пройдет». — В воскресенье он опять пришел после обедни пешком из своего прихода, несколько усталый; опять хвалил очень своего приходского священника и все служение; видно, что он был полон службой; говорил опять о псалтыри. Сказал также: «Всякий раз как иду к вам, прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днем и вечером, вижу в окне свечу, теплящуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают псалтырь)». Говорил также и о другом, о печатании, хотел прийти к нам держать корректуру, чтобы научить нас. Мы сказали, что на другой день ждали брата из деревни. На другой день, это

было в понедельник на масленой, после обеда мы сидели и разговаривали с приезжими из деревни; слышим, что кто-то взошел; оглядываемся: Николай Васильевич! Мы очень удивились и обрадовались ему. Он спросил, приехал ли брат и где он? Узнавши, что у Хомякова, сказал, что пойдет туда. В нем было видно несколько утомление; сказал, что скоро уйдет, что должен лечь ранее, потому что чувствовал какой-то холод ночью, который его, впрочем, не беспокоил. Мы сказали: «Это нервный!» — «Да, нервный», — сказал он совершенно спокойно. Видно, что он сам не придавал тому значения; сказал, что пойдет сейчас. Мы простились, по обыкновению, и он ушел. Это было в последний раз. К Хомякову он не заходил. В середу его навестили; он сказал, что не совсем хорошо себя чувствует. Видя, что он не идет к нам несколько дней, я написала записочку, чтоб узнать о его здоровье: велели сказать, что не в состоянии отвечать. На другой день посылали узнать; сказали, что ему лучше».

Сохранившийся отрывок на этом обрывается.

Глубоко потрясенный неожиданным известием о кончине Гоголя, Аксаков написал своим сыновьям взволнованное письмо:

***«Одним сыновьям, 23 февраля. <1852>.***

«Ровно двое суток, как Гоголя нет на свете. Гоголь умер… Странные слова, совсем не производящие обыкновенного впечатления. Если вчера была во мне некоторая борьба частного моего чувства с общею потерею, то сегодня первое совершенно исчезло, так что я не могу отыскать его… и я совершенно подавлен общею бедою. Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мертвых душ», перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как, например,

Смирнова. — Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти <собственных> детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением, — и, не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал.

Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал, и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарок, написав прежде такое письмо, что я ждал второго тома «Мертвых душ», писал к обоим этим Петровичам о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною эти ослы, прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава богу, не сбылось последнее; но зато он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде, услышав первые главы «Мертвых душ» второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя; притом ведь это было написано прежде и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет. Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей. Но едва ли это будет?.. Десять лет молчания, шесть лет пропадания из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец похороны самого себя в известной книге — ослабили общее участие. Бедный, бедный страдалец Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя. Прощайте, друзья мои. Крепко обнимаю и благословляю вас.

Отец и друг *С. Аксаков*».

Этим письмом исчерпываются материалы, предназначенные

С. Т. Аксаковым для книги «История моего знакомства с Гоголем». После смерти Гоголя Аксаков напечатал в «Московских ведомостях» две небольшие статьи: «Письмо к друзьям Гоголя» и «Несколько слов о биографии Гоголя», хронологически как бы завершающие события, о которых повествуют аксаковские мемуары (см. эти статьи в четвертом томе).

# ПРИМЕЧАНИЯ

Смерть Гоголя глубоко потрясла С. Т. Аксакова. Под свежим впечатлением этого события он начал писать свои воспоминания о великом писателе. Уже 28 марта 1852 г. он сообщал А. О. Смирновой: «С 21 февраля я погружен в одно занятие: я пишу или диктую о Гоголе. Я сначала писал без плана, что приходило мне в голову, но потом начал писать «Историю моего знакомства с Гоголем» («Русский архив», 1896, кн. 1, стр. 152). По-видимому, это были лишь предварительные заметки и наброски будущего произведения. Вскоре, однако, работа над ним была прервана.

В конце 1853 г. П. А. Кулиш прислал С. Т. Аксакову для ознакомления рукопись своей книги «Опыт биографии Гоголя». Прочитав ее, Аксаков исписал целую тетрадь «замечаний и дополнительных сведений» и в связи с этим сообщал 18 декабря 1853 г. своему сыну Ивану: «Это занятие подняло со дна моей души воспоминание о Гоголе, и мне стало совестно, что я до сих пор не исполнил священного долга его памяти и потомству: не написал истории моего знакомства с Гоголем со включением всей нашей переписки. Я хотел было немедленно приняться за это дело; но меня уговорили наперед окончить «Казанскую гимназию»… Как скоро кончу, то немедленно примусь за Гоголя и не отстану, если буду жив и здоров, пока не совершу этого подвига» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 3 об. — 4).

Аксаков действительно вскоре снова приступил к обещанным мемуарам, совмещая эту работу с другими литературными занятиями. На титульном листе рукописи стоит авторская помета: «Начато 9 января 1854 г.». Первые десятки страниц были написаны с необычной для Аксакова быстротой. Уже в марте того же 1854 г. он писал сыну Ивану: «Я диктую уже седьмую тетрадь истории нашего знакомства с Гоголем, а как эта работа очень утомительна, то для отдохновения и развлечения пишу еще эпизод из семейной хроники…» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 27).

Следующей весной воспоминания были доведены до середины 1843 г. Об этом свидетельствовал Аксаков в письме к М. И. Гоголь, матери писателя, от 7 апреля 1855 г. (ИРЛИ, ф. 652, оп. 2. д. № 32, лл. 27 об. — 28).

Гоголь сыграл колоссальную роль в творческой судьбе С. Т. Аксакова, очень во многом определив направление его литературного развития и содействовав рождению в нем выдающегося художника-реалиста. В примечании к одному из отрывков «Истории моего знакомства с Гоголем» Иван Аксаков писал: «Появление сочинений Гоголя произвело такой резкий

переворот в общественном и, в частности, в литературном сознании, что сочувствие или несочувствие к Гоголю определяло степень развития и способность к развитию самого человека. Это был рубеж, перейдя через который Сергей Тимофеевич растерял всех своих литературных друзей прежнего псевдоклассического нашего литературного периода. Они остались по сю сторону Гоголя» (С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПБ, 1886, стр. 335).

Аксаков считал Гоголя самым значительным писателем современности. Хотя он и не мог оценить его произведения с такой политической остротой, как Белинский, и не был в состоянии понять всей глубины их обличительного пафоса, но чутьем, сердцем художника он сразу ощутил, что в русскую литературу вошел писатель огромного масштаба, призванный совершить переворот в искусстве. Каждое новое произведение Гоголя все более убеждало в том Аксакова. Он чувствовал, что никогда раньше не было в России писателя, творчество которого так глубоко отвечало бы самым живым и острым потребностям действительности. Вот почему Аксаков с таким, можно сказать, жадным любопытством следил за творческим развитием Гоголя и так высоко ценил свою дружбу с ним.

Не удивительно, что воспоминаниям о Гоголе Аксаков придавал исключительно важное значение, несомненно выделяя их среди многих других своих мемуаров. Еще в самом начале работы автор писал Погодину: «Это пишется искренне — следственно, для потомства» (Л. Б., ф. Погодина, II, 1/60). Аналогичную мысль развивал Аксаков в письме к М. И. Гоголь в 1855 г.: «Я пишу с полной искренностью: пусть рассудит справедливое потомство; я не щажу ни себя, ни других, окружавших Николая Васильевича» (ИРЛИ, ф. 652, оп. 2, д. № 32, л. 28). Поскольку «История моего знакомства с Гоголем» затрагивала еще живых, близких друзей, Аксаков пришел к выводу, что с публикацией воспоминаний необходимо подождать, и в ряде писем подчеркивал их «секретный» для современников характер. Например, в его письме к художнику К. А. Трутовскому от 20 марта 1855 г.: «Итак, направляю для печати прежнее и продолжаю составлять понемногу секретную историю знакомства с Гоголем… секретную для современников, а потомство должно узнать ее, как матерьял к полной биографии Гоголя» («Русский художественный архив», 1892, вып. III–IV, стр. 132). Что многое в воспоминаниях не сможет быть напечатано даже сразу после его смерти, Аксаков отмечал и в цитированном выше письме к А. О. Смирновой («Русский архив», 1896, кн. 1, стр. 152).

Впрочем, несколько позднее Аксаков изменил свое

намерение, решив подготовить мемуары к печати, исключив из них «все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время». О причинах, побудивших его это сделать, он сообщил во «Вступлении» к «Истории моего знакомства».

Воспоминания С. Т. Аксакова занимают видное место в мемуарной литературе о Гоголе. В них содержится много ценных сведений, необходимых для биографии великого писателя. Несмотря на дружбу, продолжавшуюся два десятилетия, отношения между Гоголем и Аксаковым были неровными, а порой — сложными. Годы дружбы то и дело прерывались периодами взаимного отчуждения. И эти колебания в отношениях дают себя чувствовать в воспоминаниях Аксакова, имеющих не только биографический, но в значительной степени и автобиографический характер.

Славянофилы и их друзья прилагали немало усилий, чтобы обратить Гоголя в свою веру, изолировать его от влияния Белинского и использовать имя великого художника в своих интересах. Наиболее прямолинейно и грубо действовал в этом направлении Погодин. В воспоминаниях Аксакова содержится немало фактов, являющихся достоверной тому иллюстрацией. Аксаков не одобрял поведения Погодина, нередко даже им открыто возмущался, но вместе с тем и он очень тревожно, болезненно воспринимал все то, что могло указывать на возможность сближения Гоголя с наиболее передовыми общественными силами России, и прежде всего с Белинским.

Воспоминания Аксакова в той части, в какой они воссоздают конкретные факты жизни Гоголя, точны и правдивы. Но из мемуариста Аксаков иногда превращается в полемиста и дидактика. И тогда в этих, правда немногих, случаях рассказ его теряет интерес и достоверность. Надо сказать, что при всем своем стремлении быть объективным летописцем событий автору мемуаров все же не удалось избежать пристрастия в освещении некоторых существенных обстоятельств жизни Гоголя. Сложная история отношений Гоголя с семейством Аксаковых, равно как и со всем кругом «московских друзей», освещается в воспоминаниях порой односторонне, неправильно. Недостаточно раскрывается в них и внутренняя борьба Гоголя против его «друзей» — славянофилов, которая происходила на протяжении многих лет.

Но при всех недостатках «История моего знакомства с Гоголем» является выдающимся произведением Аксакова, одним из ценнейших источников для изучения Гоголя.

Аксаков предполагал рассказать историю своих отношений с Гоголем вплоть до самой его смерти. Подзаголовок воспоминаний гласит: «Со включением всей переписки с 1832 по 1852 г.».

Однако обширный замысел не был доведен до конца. Последние годы жизни Аксаков был поглощен работой над «Детскими годами Багрова-внука», а затем помешала быстро прогрессировавшая болезнь писателя. Значительная часть собранных материалов оказалась необработанной.

Начало публикаций настоящих воспоминаний связано с именем П. А. Кулиша, частично использовавшего материалы Аксакова, с разрешения автора, в своей книге «Записки о жизни Н. В. Гоголя» (СПБ. 1856). В 1880 г. И. С. Аксаков напечатал несколько отрывков из воспоминаний покойного отца в своей газете «Русь» (№№ 4, 5 и 6). Наконец, в 1890 г. в восьмой книжке «Русского архива» и одновременно отдельным оттиском «История моего знакомства с Гоголем» была напечатана полностью. Ряд последующих публикаций воспоминаний Аксакова представляет собой перепечатку издания 1890 г.

Между тем в этом издании оказалось много неточностей: пропуски слов, даже целых фраз, произвольная замена одних имен другими и пр. В рукописи «Истории моего знакомства с Гоголем» имеется специальное примечание автора относительно того, что «все письма Гоголя не только списаны с точностью, но даже скопированы». Это, однако, не соответствует действительности. Тексты писем Гоголя и писем к Гоголю воспроизведены переписчиками Аксакова, а также в издании «Русского архива» неисправно: в письмах допущены различные искажения, ошибки в их датировке и т. д.

Текст первой, законченной, части воспоминании Аксакова сверен с рукописью, хранящейся в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина (ф. Аксакова, VI/I), с которой набирался текст, опубликованный в «Русском архиве». Рукопись писалась под диктовку С. Т. Аксакова членами его семьи и правлена автором. Карандашные пометы Аксакова дублированы чернилами рукою редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева. Им же расшифрованы некоторые собственные имена, в рукописи обозначенные инициалами.

Письма С. Т. Аксакова сверены с автографами, а письма Гоголя — с изданием: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, 1940, тт. XI–XII, а в некоторых спорных случаях — с автографами. В датировку отдельных писем внесены исправления. В угловых редакторских скобках проставлены отсутствующие в оригинале даты писем, окончания недописанных слов или слова, необходимые для связи.

Стр. 143. ***Вступление***. — Рукопись «Вступление»

представляет собой незаконченный черновой карандашный набросок, сделанный рукой С. Т. Аксакова.

***Я печатно предлагал всем друзьям…*** — Имеется в виду статья С. Т. Аксакова «Несколько слов о биографии Гоголя» (см. т. 4 наст. изд.).

Стр. 144. ***…биограф его*** — П. А. Кулиш. Его двухтомные «Записки о жизни Н. В. Гоголя» вместе с предшествовавшей им книгой того же автора «Опыт биографии Н. В. Гоголя» (СПБ. 1854) представляли собой ценные для своего времени, хотя ныне уже отчасти устаревшие, материалы для биографии великого писателя.

Значительную часть фактических сведений Кулиш почерпнул у С. Т. Аксакова, П. А. Плетнева и других знакомых Гоголя, которые были заинтересованы в тенденциозном освещении некоторых сторон биографии писателя — например, его отношений с Белинским и другими прогрессивными деятелями литературы. Будучи сам человеком консервативных убеждений, Кулиш охотно выполнял указания «министерства общественной нравственности», как он называет Аксакова и Плетнева. На склоне лет своих Кулиш признался в этом В. И. Шенроку — известному биографу Гоголя: «Недостаток моих сообщений заключается в утайке от публики темных сторон жизни Гоголя: но такова была воля тогдашнего министерства общественной нравственности. Например, Плетнев с крайним негодованием рассказывал мне, что Гоголь по возвращении из-за границы, тайком от него, делал визиты журналистам и критикам» (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки УССР. Шифр: Гоголиана, 347).

Стр. 145. ***…Погодин привез ко мне… Гоголя.*** — Первая встреча Гоголя с С. Т. Аксаковым состоялась не весной 1832 г., а в начале июля. Незадолго перед тем Гоголь познакомился с М. П. Погодиным, причем, вероятнее всего, уже во время пребывания Гоголя в Москве, а не в Петербурге, как указывает ниже Аксаков (см. Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. IV, стр. 113–114; В. И. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. II, М. 1898, стр. 110–111).

Стр. 146. ***У нас остались портреты…*** — Речь идет, вероятно, о портрете Гоголя работы А. Г. Венецианова (1834). Это единственный вполне достоверный портрет Гоголя в петербургский период.

Стр. 147. ***…даже глупости смешной // В тебе не встретишь, свет пустой*** — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. vii, строфа XLVIII).

***…русская комедия его сильно занимала…*** — Это

свидетельство Аксакова подтверждает, как глубоко и серьезно уже в ту пору размышлял молодой писатель над вопросами драматургического искусства. Надо заметить также, что желание Гоголя познакомиться с М. Н. Загоскиным отнюдь не связано было с его интересом к личности или к творчеству этого писателя. Загоскин с 1831 г. состоял в должности директора московских театров, и знакомством с ним Гоголь, несомненно, преследовал определенные практические интересы в отношении театра. Гоголь, очевидно, уже в это время вынашивал замысел комедии «Владимир 3-й степени». 8 декабря 1832 г. П. А. Плетнев сообщал Жуковскому: «У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, СПБ. 1885, стр. 522). Имеется также прямое свидетельство самого Гоголя. 20 февраля 1833 г. он писал Погодину из Петербурга: «Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, 1940, т. X, стр. 262. Все последующие ссылки на сочинения и письма Гоголя даются по этому изданию).

Стр. 148. ***…на самое короткое время.*** — Описанные выше эпизоды относятся ко времени первого посещения Гоголем Москвы (конец июня — 7 июля 1832 г.) проездом из Петербурга в Васильевку. Второй раз он остановился в Москве на обратном пути (18–23 октября 1832 г.). Встреча с Загоскиным, о которой рассказывается ниже, происходила именно в эту пору.

Стр. 149. ***В 1835 году…*** — В рукописи здесь явная описка: «В 1834 году», не исправленная в издании газеты «Русь», а также «Русского архива» и механически перешедшая в последующие издания С. Т. Аксакова. События, излагаемые ниже (выход «Арабесок» и «Миргорода», а также приезд Гоголя в Москву), относятся именно к 1835 г.

Стр. 150. ***Он сам вызвался прочесть ее вслух.*** — Гоголь впервые читал «Женитьбу» у Погодина не на обратном пути из Васильевки в Петербург, то есть в августе 1835 г., а в начале мая 1835 г., когда он по пути из Петербурга в Васильевку сделал короткую остановку в Москве (см. Н. И. Мордовченко, Гоголь и журналистика 1835–1836 гг., в кн. «Н. В. Гоголь, Материалы и исследования», АН СССР, 1936, II, стр. 117–121).

***…Гоголь ужасно смешно читает.*** — М. П. Погодин так рассказывает об этом знаменитом чтении Гоголем «Женитьбы»: «Читал Гоголь так, скажу здесь кстати, как едва ли кто может читать. Это был верх удивительного совершенства. Прекрасно

некоторые вещи читал Щепкин, прекрасно читают другие комические вещи Садовский, Писемский, Островский; но Гоголю все они должны уступить. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии, или, вернее сказать, как ни. передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу» в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою — в которой церкви вы были в прошлое воскресенье? Какой цветок больше любите? — прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели a la lettre <буквально> покатывались со смеху и долго не могли прийти в себя, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами…» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 891–892).

Стр. 151. ***…гостями были Станкевич и Белинский.*** — Здесь, в доме С. Т. Аксакова, в 1835 г. состоялась первая встреча Белинского с Гоголем.

Стр. 152. ***…начали его ставить и в Москве.*** — Первое представление «Ревизора» в Москве состоялось 25 мая 1836 г. на сцене Малого театра. 21 февраля 1836 г. Гоголь сообщал Погодину, что текст «Ревизора» пересылать не будет, ибо актеры ежели «прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 35). Однако обстоятельства, связанные с постановкой комедии в Петербурге, побудили Гоголя решительно отказаться от своего первоначального плана. Мотивируя свой отказ от поездки в Москву, он писал М. С. Щепкину 29 апреля 1836 г.: «…я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе удержать и поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо… Мочи нет. Делайте, что хотите, с моей пиесой, но я не стану хлопотать о ней» (там же, стр. 38). Никакие просьбы и уговоры со стороны С. Т. Аксакова и Щепкина не могли поколебать решения Гоголя. В дело даже пробовал вмешаться Пушкин. 6 мая 1836 г. он писал жене из Москвы: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться… С моей стороны, я то же ему советую: не надобно, чтоб «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в П. Б.» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., АН СССР, т. 16, 1949, стр. 113). Гоголь, однако, был неумолим. Он поручил постановку комедии Щепкину. Но в

результате закулисных интриг Щепкину пришлось отказаться от предложения Гоголя, и организация постановки была передана дирекции московских театров, которая отнеслась к пьесе Гоголя с полным равнодушием. Спектакль, впрочем, имел огромный успех. В нем принимали участие виднейшие актеры Малого театра: Щепкин (городничий), Ленский (Хлестаков), Орлов (Осип), Потанчиков (почтмейстер) и др. С отчетом о московской постановке «Ревизора» выступил Белинский на страницах «Молвы» (см. сб. «Белинский о Гоголе», М. 1949, стр. 93).

Стр. 154. ***…не находит актера для этой роли.*** — В Александринском театре Хлестакова играл известный водевильный актер Н. О. Дюр. Он исполнял роль в легковесно-водевильной манере, усердно комиковал, стараясь чисто внешними приемами вызывать смех в зрительном зале, и оказался в конце концов неспособным раскрыть социально-обличительный смысл образа. Гоголь был крайне недоволен игрой Дюра. В «Отрывке из письма, написанного автором после представления «Ревизора» к одному литератору» Гоголь отмечал: «Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков» (Полн. собр. соч., т. IV, стр. 99). Гоголь считал роль Хлестакова «главной» и «труднейшей». В связи с готовящейся постановкой «Ревизора» в Москве писатель обращал внимание Щепкина на необходимость особенно тщательного выбора исполнителя этой роли: «Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, <если> ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных!.. Я сильно боюсь за эту роль» (там же, т. XI, стр. 39). На московской сцене Хлестакова играл первоначально Ленский, а с 1838 г. — Самарин. Критические отзывы Белинского об игре этих исполнителей (см. сб. «Белинский о Гоголе», стр. 99–104) показывают, что опасения Гоголя не были напрасными.

***Сам Гоголь видел его…*** — Об этом спектакле см. в воспоминаниях Л. И. Арнольди и Н. В. Берга («Гоголь в воспоминаниях современников», М. 1952, стр. 495 и 507).

***Гоголь сделался болен и духом и телом.*** — Известие о трагической гибели Пушкина застало Гоголя в Париже. Он встретил А. С. Данилевского и сказал ему: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше» (В. И. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. III, стр. 166). Потрясенный горем, Гоголь писал П. А. Плетневу 16 марта 1837 г. из Рима: «Что месяц, что неделя, то новая утрата; но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна

строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 88–89; см. там же письма: к Погодину от 30 марта 1837 г., к Прокоповичу от 30 марта 1837 г., к Жуковскому от 18 апреля и 30 октября 1837 г.).

Стр. 155–156. ***Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем.*** — О своих встречах с Гоголем за границей Погодин рассказывает в своих воспоминаниях «О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 г.» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 887–895). См. также: М. Погодин, Год в чужих краях. Дорожный дневник (М. 1844).

Стр. 162. ***Тридцатого октября…*** — В рукописи явная описка: «30 ноября».

Стр. 163. ***Вот, например, Владимир Иванович Панаев.*** — В. И. Панаев в 1830–1831 гг. был непосредственным начальником Гоголя по службе в департаменте уделов и, судя по дошедшим до нас документам, оказывал ему покровительство (см. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 295–300). В. И. Панаев впоследствии дослужился до крупных административных чинов. Одновременно он претендовал на литературную славу, сочиняя старомодные сентиментальные идиллии. В. И. Панаев был человеком реакционных убеждений и крайне неодобрительно относился к сатирическим произведениям своего бывшего подчиненного — Н. В. Гоголя. Выразительный портрет Панаева и характеристику его отношения к творчеству Гоголя оставила в своих воспоминаниях Авдотья Панаева (см. «Воспоминания», М. 1956, стр. 159–160).

Стр. 166. ***…трагедия из истории Запорожь***я — незаконченная и сожженная историческая трагедия Гоголя из украинской жизни «Выбритый ус», которую он начал писать в 1839 г., во время работы над второй редакцией «Тараса Бульбы». Именно об этой пьесе Гоголь сообщал 10 августа 1839 г. Шевыреву из Вены: «Труд мой, который начал, не идет; а, чувствую, вещь может быть славная» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 248). Гоголь был необычайно увлечен сюжетом новой пьесы. Он с радостью погружался в столь любимую им героическую историю Запорожской Сечи (см. письмо к Погодину от 17 октября 1840 г. — там же, стр. 314). Литератор В. А. Панов, которому Гоголь читал в ноябре 1840 г. в Риме начало трагедии, поделился в письме к С. Т. Аксакову своими впечатлениями о ней: «Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал, и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не

столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство» (Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. V, стр. 369). Об обстоятельствах сожжения трагедии см. в воспоминаниях Ф. В. Чижова («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 229). Сохранившиеся небольшие отрывки из этой трагедии были впервые опубликованы П. А. Кулишом («Заметки и наброски Н. В. Гоголя для драмы из «Украинской истории», «Основа», 1861, № 1, стр. 116–120). См. также Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. V, стр. 199–201). Материал, собранный Гоголем для исторической драмы, был им использован в новой редакции «Тараса Бульбы».

***…откупщику Бенардаки.*** — Гоголь познакомился с Д. Е. Бенардаки, нажившим спекулятивными сделками миллионное состояние, летом 1839 г. в Мариенбаде. Он питал к этому человеку интерес несколько специфический, видя в нем источник полезной для себя информации. Об этом, например, свидетельствовал Погодин: «Гоголь выспрашивал его (Бенардаки. — *С. М.*) о разных исках и, верно, дополнил свою галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим на сцене» («Год в чужих краях», М. 1844, т IV, стр. 75). Есть указание того же Погодина, что Бенардаки явился одним из прототипов Костанжогло: «Мы все гуляли вместе (в Мариенбаде. — *С. М.*). Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во второй части писан в некоторых частях прямо с него» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 895).

***…калибаны в понимании искусства.*** — Калибан — персонаж из трагедии Шекспира «Буря», уродливый дикарь.

Стр. 168. ***…вторые «Три повести» Павлова*** — «Маскарад», «Демон» и «Миллион» (СПБ. 1839). Первый сборник Н. Ф. Павлова под тем же названием вышел в 1835 г. и содержал в себе следующие произведения: «Именины», «Аукцион» и «Ятаган». Эта книга вызвала ярость Николая I и специальное цензурно-полицейское дознание. О ней тепло отозвался Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». Критика особенно заинтересовала социально острая повесть «Именины», посвященная изображению трагической судьбы крепостного музыканта. В дальнейшем, однако, антикрепостнические мотивы в творчестве Павлова почти не проявлялись. Идейная позиция писателя становилась все более умеренной. В начале 60-х годов он перешел в лагерь реакции.

Стр. 170. ***Я подозреваю в этом даже Пушкина…*** — Утверждение С. Т. Аксакова, что Пушкин якобы «не вполне ценил

талант Гоголя», безосновательно. Общеизвестные ныне факты (например, письма и дневник Пушкина, свидетельства многих современников) категорически опровергают это мнение.

Стр. 172. ***Он потерян.*** — Это письмо давно найдено. И. С. Аксаков подарил его в 1839 г. Ф. А. Бюллеру, одному из своих приятелей по Училищу правоведения, который много лет спустя отдал его в редакцию «Русской старины» для опубликования (1871, № 12, стр. 681). См. текст этого письма — Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XI. стр. 265.

Стр. 173. ***…выехали мы из Петербурга.*** — Гоголь выехал с С. Т. Аксаковым из Петербурга 17 декабря 1839 г.

Стр. 176. ***…был недоволен ею как взыскательный художник.*** — В письме к Погодину от 23 февраля 1833 г. Гоголь совершенно ясно объяснил причину, которая препятствует ему завершить работу над комедией «Владимир 3-й степени»: «Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит… Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости!» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 262–263). К этому же неосуществленному замыслу Гоголя относятся слова Плетнева в письме к Жуковскому от 17 февраля 1833 г.: «Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, стр. 528).

Стр. 178. ***Он начал чтение…*** — Подробное описание этого чтения см. в воспоминаниях И. И. Панаева («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 214).

***…как нужен был товарищ Гоголю…*** — Находясь в затруднительном материальном положении, Гоголь искал товарища, с которым можно было бы поделить дорожные издержки. С этой целью он даже опубликовал специальное «Объявление о выезде»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках: на Девичьем поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя» («Московские ведомости», 1840, № 28. «Прибавления», № 90, стр. 246) Первоначальный шутливый вариант этого объявления не был пропущен в газете (см. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 489; ср. также «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 587).

Стр. 179. ***…А. И. Тургенев…*** — Во всех старых изданиях воспоминаний С. Т. Аксакова здесь назван И. С. Тургенев. В. Вересаев первым высказал сомнение в том, присутствовал ли на

этих именинах И. С. Тургенев. Свое сомнение В. Вересаев обосновывал ссылкой на то, что Тургенев ничего об этой знаменательной встрече не рассказывает в своих воспоминаниях о Гоголе и Лермонтове: «Невероятно предположить, чтоб Тургенев забыл о празднике, проведенном им с Гоголем в среде интимных его друзей, и о чтении Лермонтовым «Мцыри» («Гоголь в жизни», Academia, М.—Л. 1933, стр. 239).

И. С. Тургенев действительно не мог присутствовать 9 мая 1840 г. на именинах Гоголя в Москве, потому что с января 1840 по сентябрь 1841 г. он был за границей. Присутствовал же на именинах А. И. Тургенев. Это подтверждается недавно опубликованной записью из его дневника: «9 мая <1840>. К Свербеевой. С ней у крыльца. Там и Павлов. Оттуда к Лермонтову, не застал, домой и к Гоголю на Девичье поле у Погодина: там уже la jeune Russie <молодая Россия> съехалась: это напомнило мне и наш поддевиченский Арзамас при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт в саду: Лермонт<ов>, к. Вязем<ский>, Баратынский, Сверб<еевы>, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов, Попов, Хотяева и пр. Глинки; веселый обед… В 9 час. разъехались. Приехал и Чаадаев. Я домой и опять к Павлов<у>, кот<орый> ошибкой приглашен не был…» (Э. Герштейн, Дуэль Лермонтова с Барантом, «Литературное наследство», т. 45–46, 1948, стр. 419–420).

Повод для недоразумения дала сама рукопись С. Т. Аксакова. В ней первоначально назывался А. И. Тургенев, но затем первый инициал был ошибочно зачеркнут, а сверху, после «И», карандашом вписано «С». Так вместо А. И. Тургенева появился И. С. Тургенев.

***…Лермонтов…*** — До недавнего времени считалось, что 9 мая 1840 г. состоялась единственная встреча двух великих русских писателей — Лермонтова и Гоголя. Между тем в дневнике А. И. Тургенева упоминается еще одна встреча, происходившая на другой день у Е. А. Свербеевой: «10 мая… Вечер у Сверб<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов…» («Литературное наследство», т. 45–46, 1948, стр. 420). Это — единственное скупое свидетельство о неизвестном до сих пор эпизоде в биографии Гоголя и Лермонтова.

Стр. 180. ***…нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию.*** — Длительное пребывание Гоголя за границей объяснялось вовсе не тем, что он «не довольно любит Россию». Гоголь горячо любил свою родину, но Россия чиновничья, крепостническая приносила ему невыразимые страдания. Он почувствовал это особенно остро после выхода в свет «Ревизора».

Яростные нападки на Гоголя той части русского общества, против которой была обращена комедия, вызвали в нем болезненную реакцию. Почувствовав себя одиноким, всеми, как ему казалось, покинутым («Все против меня», — писал он), Гоголь уехал за границу. Но уже первые его письма из-за границы полны глубокой тоски по родине. 22 сентября 1836 г. Гоголь пишет Погодину из Женевы: «На Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина; но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь…» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 60). Гоголя звали домой, упрашивали вернуться, но чувство любви к родине было отравлено у него сознанием властвующей там несправедливости, сознанием невозможности писать там «с правдой и злостью». И он принимает решение не возвращаться. Он пишет снова Погодину: «Ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный!» (там же, стр. 92). С подобными настроениями мы встречаемся во многих письмах Гоголя: гневные воспоминания о «гадких рожах», или «презренной черни», или «благородном пашем аристократстве», при одной мысли о котором «сердце… содрогается», неизменно переплетаются с трогательно нежными чувствами к родной русской земле.

Гоголь писал, что ничто на чужбине не может вдохновить его как художника: «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему… И я ли после этого могу не любить своей отчизны?» (там же, стр. 92). Искренность этих взволнованных строк Гоголя подтверждается всеми его художественными произведениями, проникнутыми могучим патриотическим чувством. Все это наглядно опровергает ошибочное утверждение С. Т. Аксакова.

Стр. 183. ***«Русских песней» Сахарова.*** — «Песни русского народа» И. П. Сахарова (чч. 1–5. 1838–1839).

Стр. 186. ***…оба издания песней Максимовича.*** — Речь идет о сборниках народных украинских песен, собранных и изданных М. А. Максимовичем: «Малороссийские песни» (М. 1827), «Украинские народные песни», ч. I (М. 1834), «Голоса украинских песен» (М. 1834).

Гоголь был знатоком и собирателем народной песни. «Моя радость, жизнь моя! песни! Как я вас люблю! — писал он в 1833 г. своему другу М. А. Максимовичу. — …Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 287). Еще в юношеские годы пробудилась у Гоголя страсть к собиранию

памятников народного творчества. Будучи учеником нежинской гимназии, он завел у себя специальную тетрадь под названием «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия», в которую записывал услышанные где-либо народные песни. К середине 30-х годов у Гоголя образовалось большое собрание произведений народного творчества, в котором было немало песен, совершенно неизвестных специалистам-этнографам. Намерение Гоголя издать это собрание совместно с М. А. Максимовичем не было осуществлено (см. «Песни, собранные Н. В. Гоголем» в сборнике «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», выпуск 2, СПБ. 1908).

Стр. 187. ***Товарищ мой...*** — имеется в виду В. А. Панов, с которым Гоголь выехал 18 мая 1840 г. из Москвы за границу и с которым жил некоторое время в одной квартире в Риме. Панов писал под диктовку Гоголя первые главы первого тома «Мертвых душ», затем его сменил Анненков.

Стр. 188. ***«Дядька в хлопотах»***, или «Дядька в затруднительном положении» — комедия итальянского писателя Джиованни Жиро. Перевод ее помещен в т. V Полн. собр. соч., стр. 203–241. В письме Гоголя упоминается лишь первое действие этой пьесы, так как второе действие было вложено в письмо к Щепкину и третье — в письмо к Погодину. В какой мере участвовал Гоголь в переводе этой комедии на русский язык, точно неизвестно. В том письме, которое Гоголь выше просит Аксакова передать Щепкину, сказано: «Комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! Всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 304).

***Вы... узнали великую утрату.*** — Гоголь имеет в виду смерть Г. И. Карташевского.

Стр. 190. ***...нужно к спеху.*** — Речь идет о подготовке второго издания «Ревизора»; под работой «не к спеху» имеется в виду завершение «Мертвых душ». Опутанный долгами, Гоголь должен был вопреки своему желанию прервать напряженный труд над «Мертвыми душами» и заняться срочной подготовкой к переизданию «Ревизора».

Стр. 191. ***...до сведения кое-кого*** — то есть до сведения К. С. Аксакова.

Стр. 192. ***...что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало.*** — См. примеч. к стр. 180. Ниже — неправильное рассуждение С. Т. Аксакова о характере влияния московских славянофилов на Гоголя. Здесь уместно вспомнить Чернышевского: «Эти мудрые варяго-руссы если и были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями» (Н. Г.

Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 40).

***…потеряли мы сына.*** — Речь идет о смерти младшего сына С. Т. Аксакова, Михаила.

Стр. 193. ***…письмо, писанное мною к Пушкину…*** — Имеется в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Этот «Отрывок», напечатанный в шестой книжке «Москвитянина» за 1841 г. и в том же году в качестве приложения — во втором издании «Ревизора», представлял собой блестящий авторский комментарий к комедии. «Отрывок» датирован 25 мая 1836 г. По мнению Н. Тихонравова и В. Шенрока, работа Гоголя над «письмом» была завершена в 1841 г., и, таким образом, его адресатом уже не мог быть Пушкин. Эта точка зрения, впрочем, не может считаться окончательно подтвержденной.

Стр. 201. ***…ко всему нашему русскому направлению.*** — В. Г. Белинский неутомимо боролся со славянофилами, беспощадно разоблачая в своих статьях реакционный характер их политических и эстетических позиций. Славянофилы ненавидели Белинского, справедливо усматривая в нем своего непримиримого идейного противника. Отрицательно относился в это время к Белинскому и С. Т. Аксаков (см. вступительную статью к т. I наст. изд.).

«Секретное» свидание Гоголя с Белинским состоялось в начале января 1842 г. В связи с отказом московской цензуры разрешить к печати «Мертвые души» (см. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г. — Полн. собр. соч., т. XII, стр. 28–30) Гоголь обратился к гостившему в Москве Белинскому с просьбой захватить с собой рукопись в Петербург и посодействовать скорейшему ее прохождению через тамошние цензурные инстанции. Белинский охотно согласился выполнить поручение. Что касается «секретного» характера этого свидания, то оно объясняется нежеланием Гоголя разглашать перед московскими друзьями (Аксаковым, Шевыревым, Погодиным) свои отношения с Белинским. Встреча с ним Гоголя была для них полной неожиданностью. Они были сильно встревожены этим фактом и весьма опасались влияния Белинского на Гоголя.

Во время свидания критик пытался привлечь Гоголя к сотрудничеству в «Отечественных записках». От этого сотрудничества Гоголь уклонился (см. В. Г. Белинский, Избранные письма, М. 1955, т. 2, стр. 197).

Стр. 202. ***…даже записками… которые посылал ежедневно к нему снизу наверх.*** — Эта своеобразная переписка между Погодиным и гостящим в его доме Гоголем проливает яркий свет на характер их отношений. Погодин настойчиво добивался

согласия Гоголя на сотрудничество в «Москвитянине». Предполагалось использовать имя великого писателя в интересах славянофильского лагеря; участие Гоголя в «Москвитянине» должно было продемонстрировать его солидарность со славянофилами и их друзьями. Но именно поэтому Гоголь так ожесточенно сопротивлялся домогательствам Погодина. Вот одна из записок Погодина, написанная на клочке бумаги в начале 1842 г.: «Я устраиваю теперь 2-ю книжку <«Москвитянина»>, будет ли от тебя что для нее?» Гоголь кратко и выразительно ответил на обороте того же клочка: «Ничего» (Е. Казанович, К истории сношений Гоголя с Погодиным, «Временник Пушкинского дома», Петроград, 1914, стр. 75. Здесь опубликованы двадцать четыре записки, которыми обменялись Погодин и Гоголь). Погодин не унимался и не гнушался никакими средствами, чтобы достичь цели. В ответ на очередное его домогательство Гоголь отправляет вниз, хозяину дома, записку: «Не беспокой меня в теченье двух неделей по крайней мере. Дай отдохновенье душе моей!» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 53). В начале апреля 1842 г. Гоголь получил из Петербурга цензурное разрешение на печатание «Мертвых душ». На страницах «Москвитянина» появилось объявление о предстоящем выходе нового произведения. Погодин потребовал от Гоголя разрешения опубликовать в своем журнале несколько отрывков из поэмы до ее выхода в свет отдельным изданием. Гоголь категорически отказался. Он написал откровенную записку Погодину: «А насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убеждения, которых ты и не можешь и не в силах понять, то исполни по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты и не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен хотя до моего выезда» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 56).

После вскоре состоявшегося отъезда Гоголя из Москвы дружеские отношения его с Погодиным оказались надолго прерванными.

Стр. 204. ***…мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию.*** — Это представление «Ревизора» состоялось не в 1840 г., а 17 октября 1839 г. См. письма Грановского к Н. В. Станкевичу от 25 ноября 1839 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», М. 1897, т. II, стр. 374–375), Н. П. Огарева к Герцену («Русская мысль», 1888, № 11, стр. 1), Н. Ф. Павлова к Шевыреву от 20 октября 1839 г. («Из собрания автографов имп. публ. библ.», СПБ. 1895, стр. 119). Об этом спектакле см. также в

воспоминаниях И. И. Панаева («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 217).

Стр. 205. ***…на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына.*** — О характере «литературных вечеров», устраивавшихся у князя Д. В. Голицына, рассказывает в своих неопубликованных мемуарах современник: «В 1842 году учредились литературные же вечера и у генерал-губернатора Москвы, добродушного и благородного князя Дмитрия Владимировича Голицына. Мы этому очень удивились, потому что он был совсем не литератор. Но вот что было этому причиною. Ему велено было наблюдать, и наблюдать за всеми, бывавшими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашел такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе…» (М. А. Дмитриев, Воспоминания, Л. Б., ф. Музейный, М. 8184/II, ч. II, л. 100). На голицынские «пятницы» часто бывал зван и Гоголь. А он, словно догадываясь о специфическом характере «интереса» князя Голицына к литературе и к его собственной персоне и вообще чураясь великосветского общества, старался как можно реже переступать порог генерал-губернаторского дома. Тот же М. Дмитриев свидетельствует, как Погодину и Шевыреву удалось однажды ценой больших усилий привезти Гоголя к Голицыну, а он, «…не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении…» (там же).

Стр. 206. ***Одна из них, именно Кошелева…*** — Имя О. И. Кошелевой (см. Именной указатель в т. 4 наст. изд.) было вырезано в рукописи, вероятно, И. С. Аксаковым.

***…рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц.*** — В связи со столь необычной задержкой в получении Гоголем рукописи Белинский писал 31 марта 1842 г. В. П. Боткину: «Мертвые души» отправлены в Москву (цензурным комитетом) 7 марта, за № 109, на имя Погодина с передачею Гоголю. Но Гоголь не получал: подозревает Плетнев, Прокопович и я, что Погодин получил, но таит до времени, с целью выманить у него пока еще статейку для журнала» (В. Г. Белинский, Избранные письма, М. 1955, т. 2, стр. 188). Хотя подозрение Белинского и не подтвердилось (рукопись была задержана цензурным комитетом и получена Гоголем 5 апреля), но это место в его письме правильно раскрывает характер отношения Погодина к Гоголю.

Стр. 207. ***…ни одного замаранного слова.*** — Петербургская цензура отнюдь не так благодушно отнеслась к «Мертвым душам». Хотя рукопись и разрешено было после долгих хлопот печатать, но цензурный комитет при этом признал в ней тридцать шесть мест «сомнительными»; кроме того, от Гоголя потребовали

внести существенные исправления в «Повесть о капитане Копейкине» либо снять ее вовсе и, наконец, изменить самое заглавие поэмы; вопреки воле автора она должна была теперь называться «Похождения Чичикова, или Мертвые души».

Стр. 213. ***…путешественника бы не пропустили.*** — Ср. в воспоминаниях Погодина: «Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас, не дает да и только: начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо: Signore, passaporti! Так он поступал, когда паспорт у него в кармане и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь его, и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их, и никто более» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 890–891).

Стр. 222. ***Константин напечатает свою статью особой брошюркой.*** — После неудач с помещением статьи в журнал Аксаковы решили издать ее отдельной брошюрой. 7 июля 1842 г. было получено цензурное разрешение, и она вскоре вышла в свет. Брошюра вызвала большой шум в журнальных кругах, особенно после резкого выступления Белинского на страницах «Отечественных записок». Гоголь, узнав о брошюре и о том впечатлении, какое она произвела, неодобрительно отнесся к выступлению К. Аксакова, причем не только потому, как ниже указывает С. Т. Аксаков, что брошюра «появилась не вовремя». Гоголь был недоволен статьей К. Аксакова и по существу. В письме к С. Т. Аксакову от 18 августа 1842 г. Гоголь действительно отмечает: «Ей (т. е. брошюре. — *С. М.*) рано быть напечатанной теперь»; но этой фразе предшествует другая: «Я был уверен, что Конст. Сер. *глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы*», (Выделено

мною. — *С. М.* см. наст. том, стр. 232). Полгода спустя, когда С. Т. Аксаков поставил вопрос в упор: «Я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюру Константина», — Гоголь вежливо ответил (в письме от 18 марта 1843 г.), что он и «не думал сердиться на него за брошюрку», но тут же продолжил: «Горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок» (наст. том, стр. 248).

В течение многих лет брошюра К. Аксакова была предметом резкой критики со стороны прогрессивной журналистики. В 1860 г. ее высмеял Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» (Полн. собр. соч., 1935, т. 2, стр. 241–242).

Стр. 228. ***...на квартиру Нащокина.*** — П. В. Нащокин, будучи в молодости очень богатым человеком, промотал все свое состояние и последние полтора десятилетия своей жизни сильно бедствовал. Гоголь пытался принять участие в его судьбе. Письмо, о котором Гоголь наводит справки у Аксакова, было им послано Нащокину 20 июля 1842 г. из Гастейна. В этом письме Гоголь сообщал о своих переговорах с откупщиком-миллионером Д. Е. Бенардаки относительно того, чтобы Нащокин стал воспитателем его сына.

***«Статистику России»***. — Точное название книги экономиста и критика В. П. Андросова — «Хозяйственная статистика России» (М. 1827).

***Кошихин*** — Котошихин Григорий Карпович — подьячий Посольского приказа, в 1663 г. изменил родине и бежал в Швецию. Речь идет о его произведении «О России в царствование царя Алексея Михайловича», которое было обнаружено лишь в 30-х годах XIX века и впервые опубликовано в 1840 г.

Стр. 229. ***Повесть Гоголя «Портрет»*** — впервые появилась в «Арабесках» в 1835 г. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский дал в общем суровую оценку этому произведению. «Портрет» — есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде» («Белинский о Гоголе», стр. 84). Во второй половине 30-х годов Гоголь начал коренную переработку «Портрета», завершенную весной 1842 г. и опубликованную в том же году в «Современнике» (т. XXVII, № 3). Вполне вероятно предположение, что переработку «Портрета» Гоголь осуществил под влиянием Белинского. Это подтверждается и характером переработки. Именно вторая часть, которая не понравилась Белинскому, была особенно серьезно переделана: существенно перестроена вся сюжетная канва, значительно ослаблен фантастический элемент. Однако общая концепция повести свидетельствовала об усилении в Гоголе идейных противоречий. В 1842 г. в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы

Гоголя…» Белинский снова возвращается к «Портрету», только что появившемуся в новой редакции. Он отмечает, что первая часть «стала несравненно лучше», но итоговая оценка повести остается отрицательной («Белинский о Гоголе», стр. 236).

Стр. 237. ***Одно только лирическое место (стран. 58)…*** — В рукописи С. Т. Аксакова здесь, по-видимому, описка. Следует читать, очевидно, стр. 258 первого издания «Мертвых душ» (М. 1842). Речь здесь идет об известном лирическом отступлении в седьмой главе поэмы, в котором писатель обещает в будущем вернуться к своим героям, и тогда, по его словам, читатели «почуют в смущенном трепете гром других речей…»

***…в доказательство постоянного направления Гоголя.*** — Здесь неверное утверждение Аксакова, будто бы Гоголь всегда придерживался того направления идей, которое нашло свое выражение в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Подобного рода ошибки допускали и некоторые другие мемуаристы и биографы Гоголя, например, Кулиш в своих «Записках». На это обратил внимание уже П. В. Анненков. В воспоминаниях «Гоголь в Риме летом 1841 г.» он писал: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании» («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 263).

Стр. 239. ***Шевыревнаписал две, пишет еще третью статью.*** — Две статьи С. П. Шевырева о «Мертвых душах» были напечатаны в 7-й и 8-й книжках «Москвитянина» за 1842 г. Некоторые положения этих статей были кратко изложены в его обзоре «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 г.» («Москвитянин», 1843, № 1). Реакционная концепция Шевырева была неоднократно предметом резкой критики Белинского.

Стр. 241. ***…Белинский… их далеко не понимает***. — Здесь следует подчеркнуть, что именно Белинский был первым критиком, правильно понявшим и оценившим идейное и художественное значение «Мертвых душ», как и всего творчества Гоголя.

Стр. 242. ***Письмо это должно принадлежать к 1842 году.*** — Выше Аксаков предположительно относит это письмо к январю 1843 г. В действительности оно относится к ноябрю 1842 г. (см. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 616–617).

Стр. 243. ***…памятником его царствования.*.** — Ныне эти строки Аксакова, конечно, могут быть восприняты лишь

иронически. В действительности лучшие произведения Гоголя беспощадно обличали феодально-крепостнический режим Николая I.

Стр. 244. ***Позволите ли вы?*** — Гоголь охотно разрешил эту перемену (см. наст. том, стр. 248). С получением ответа Гоголя Щепкин и Живокини тотчас же обменялись ролями.

Стр. 245. ***Мне тяжело смотреть на Щепкина…*** — Когда Щепкин осенью 1844 г. приехал в Петербург на гастроли и выступал в «Женитьбе» (в роли Кочкарева), Белинский дал в общем высокую оценку, хотя и с серьезной оговоркой, его исполнению: «В роли Кочкарева (в «Женитьбе») он обнаруживает больше искусства, нежели истинной натуры; но тем не менее только его игра в этой роли показала петербургской публике, что за пьеса «Женитьба» («Белинский о Гоголе», стр. 288).

***Кругель, Швохнев*** — персонажи «Игроков».

Стр. 246. ***…полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также.*** — Речь идет о второй, окончательной редакции «Тараса Бульбы», значительно отличающейся в идейном и художественном отношении от первой, «миргородской» редакции (1835 г.).

Стр. 255. ***Прокоповичу я поручил…*** — Поручив вести дела по изданию своих сочинений в Петербурге Прокоповичу, Гоголь вызвал этим острое неудовольствие московских друзей. Этот шаг со стороны Гоголя объяснялся его стремлением хоть в какой-нибудь степени ослабить свою зависимость от «москвичей». Многие из них донимали Гоголя своими докучливыми просьбами поскорее издать второй том «Мертвых душ», работу над которым писатель считал еще далеко не завершенной. Кроме того, как уже отмечалось, Гоголя особенно возмущало поведение Погодина, который в ответ на оказываемые писателю услуги грубо понуждал его сотрудничать в «Москвитянине», что послужило в конце концов причиной продолжительной ссоры Гоголя с Погодиным.

Стр. 257. ***…напечатано было в «Москвитянине» извещение.*** — Незадолго перед тем имела место другая выходка Погодина: когда Гоголь еще продолжал работать над окончательной редакцией «Женитьбы», в «Москвитянине» (1841, № 2) неожиданно появилось объявление, извещавшее, что «комедия «Женихи» в двух действиях давно готова». Было много и других актов самоуправства Погодина, необычайно возмущавших Гоголя.

Стр. 263. ***…о которых он думал одинаково с нами.*** — Что касается Белинского, то Гоголь относился к нему вовсе не так, разумеется, как Аксаков, Шевырев и Погодин.

***Такую же сумму думал я занять у Д. <Свербеева>.*** — Фамилия Д. Н. Свербеева была, как установлено Л. Р. Ланским,

вырезана из рукописи И. С. Аксаковым или П. И. Бартеневым и заменена инициалом Д., так как его жена, Е. А. Свербеева, в момент печатания «Истории моего знакомства с Гоголем» была еще жива (см. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 682).

Стр. 267. ***Вероятно, его надо отнести к другому периоду***. — Это письмо относится к 1846 г. (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 62–63).

Стр. 269. ***…публичные чтения сочинений Гоголя.*** — По инициативе М. С. Щепкина группа артистов начала в 1843 г. в Москве проводить вечера художественного чтения. Исполнялись преимущественно произведения Гоголя (см. отклик на эти чтения в статье Гоголя «Чтения русских поэтов перед публикою») (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 233–234).

***…рукописная статья Самарина.*** — Имеется в виду не статья, а письмо к К. С. Аксакову, в котором Ю. Ф. Самарин излагал свой взгляд на «Мертвые души». Письмо было напечатано много лет спустя в «Русском архиве» (1880, № 2, стр. 298–302) и «Русской старине» (1890, № 2, стр. 421–425).

Стр. 274. ***…по Глинкиной части…*** — намек на религиозно-мистические настроения, которыми был в это время проникнут Ф. Н. Глинка.

***Твой Погодин.*** — На этом обрывается та часть рукописи «Истории моего знакомства с Гоголем», которую С. Т. Аксаков успел обработать и подготовить к печати.

Как уже отмечалось, С. Т. Аксаков предполагал довести «Историю моего знакомства с Гоголем» до 1852 г. Но автор не успел осуществить всего своего замысла. Первая часть мемуаров, законченная и подготовленная им к печати, обрывается на событиях 1843 г. Материалы второй части представляли собой разрозненные и не связанные между собой письма, выписки, заметки. Н. М. Павлов, первый публикатор «Истории моего знакомства», проделал значительную работу по подготовке к печати материалов ко второй части аксаковских мемуаров, собрав и в основном правильно организовав все сохранившиеся материалы. Во вступительной заметке ко второй части этих воспоминаний Н. М. Павлов перечислил те материалы, которые легли в основу второй части аксаковских мемуаров. К ним относятся: переписка Аксакова с Гоголем; выписки из дневника старшей дочери автора, Веры Сергеевны, и выдержки из ее переписки с М. Г. Карташевской; различные черновые заметки и наброски, частью продиктованные и выправленные рукой Аксакова, а частью писанные им самим от начала до конца; переписка С. Т. Аксакова с членами своей семьи по поводу смерти

Гоголя; наконец, предварительные наброски воспоминаний о Гоголе, сделанные самим Аксаковым для П. А. Кулиша, который использовал эти материалы в книге «Записки о жизни Гоголя». Эти напечатанные Кулишом отрывки — не очень ценные в той части, в какой они относятся к периоду до 1843 г. (поскольку это время полно отражено в первой половине аксаковских мемуаров), — представляют большой интерес в отношении последующего периода жизни Гоголя.

Полный текст мемуаров Аксакова впервые был опубликован в журнале «Русский архив», 1890, № 8, одновременно — отдельным оттиском.

Вторая часть воспоминаний С. Т. Аксакова воспроизводится в настоящем издании почти в том виде, в каком она была напечатана в «Русском архиве», за исключением двух статей Аксакова («Письмо к друзьям Гоголя» и «Несколько слов о биографии Гоголя»), помещаемых в следующем, четвертом, томе этого издания. Письма, вошедшие во вторую часть аксаковских мемуаров, оказались напечатанными в издании «Русского архива» с гораздо большим количеством неисправностей, чем те, которые вошли в первую часть. Письма Аксакова, как и в первой части его воспоминаний, сверены с автографами, а письма Гоголя — с изданием: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, тт. XII–XIV, — а в некоторых спорных случаях — с автографами. Остальные материалы также сверены с первоисточниками.

Пояснительные заметки ко второй части воспоминаний, необходимые для связности изложения, набраны петитом.

В заключение отметим, что переписка Аксакова и Гоголя отнюдь не исчерпывается теми материалами, которые были подготовлены автором мемуаров и имелись в распоряжении Н. М. Павлова. За последние семьдесят пять лет, прошедшие после публикации «Русского архива», выявлено немало новых документов, существенно дополняющих наше представление об истории взаимоотношений Гоголя и Аксакова.

Недавно было осуществлено новое издание «Истории моего знакомства с Гоголем» — в серии «Литературных памятников» АН СССР (М. 1960, под ред. Н. П. Пахомова), в которое составители (Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова) включили ряд новых, в разное время опубликованных материалов, освещающих историю отношений С. Т. Аксакова и Гоголя. Это во многом ценное и полезное издание, однако, имеет, на наш взгляд, один существенный недостаток: составители встали на путь «конструирования», в сущности, нового текста аксаковских мемуаров, точнее, второй их половины, произвольно включив в это произведение материалы, сами по себе интересные, но не

санкционированные С. Т. Аксаковым. Среди этих материалов встречается не только переписка С. Т. Аксакова и Гоголя, но и извлечения из писем членов семьи Аксакова, например, В. С. Аксаковой к брату Ивану, к М. Г. Карташевской или вовсе не относящееся к делу извлечение из письма Н. С. Аксаковой к отцу (стр. 214), и т. д.

Между тем Н. П. Павлов, редактор первого издания «Истории моего знакомства с Гоголем», характеризуя принципы, положенные в основу публикации второй части мемуаров, писал: «Пользуясь исчисленным матерьялом, издатель в том и полагал свою главную задачу, чтобы, ничего не добавляя от себя, вести дальнейший рассказ собственными словами Сергея Тимофеевича или, по крайней мере, подлинным текстом подготовленного им самим матерьяла» («История моего знакомства с Гоголем», М. 1890, стр. 117). Это был правильный, научный принцип: в книгу включены лишь материалы, «подготовленные им самим», то есть Аксаковым. Этот принцип сохраняет в полной мере свое научное значение и по сию пору. «Историю моего знакомства с Гоголем» следует печатать, как нам кажется, именно в том виде, в каком это произведение было подготовлено С. Т. Аксаковым. Что же касается новых, позднее найденных материалов, то они могут быть использованы лишь в примечаниях либо в приложении, но ни в коем случае в основном тексте произведения С. Т. Аксакова.

Стр. 275. Это письмо Гоголя к Погодину относится к началу ноября 1843 г.

Стр. 276. ***…вырвался я из домика на Девичьем поле.*** — Гоголь имеет в виду свое пребывание у Погодина в последний приезд в Москву. Будучи в Москве, он обычно останавливался и жил у Погодина, в мезонине его дома на Девичьем поле.

Стр. 285. ***«Подражание Христу»*** — сочинение средневекового философа, мистика Фомы Кемпийского, написанное около 1441 г.; неоднократно выходило в русском переводе.

Стр. 292. ***…невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества»***. — Речь идет о статье К. Масальского о «Мертвых душах» («Сын отечества», 1842, № 6).

Стр. 295. ***…о несчастии бедного Погодина.*** — Речь идет о смерти жены Погодина.

***…свою диссертацию***. — Магистерская диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» была опубликована в Москве в 1846 г. и защищена в 1847 г.

***…вы знаете о Княжевиче?*** — Аксаков имеет в виду смерть Д.

М. Княжевича.

Стр. 296. ***Дело это должно остаться.*** — Суть дела состояла в следующем. Гоголь решил передать деньги, которые должны были быть выручены от продажи его «Сочинений», изданных в 1842 г., в фонд помощи нуждающимся одаренным студентам Петербургского и Московского университетов. Осуществление этой идеи поручалось Плетневу и Прокоповичу — в Петербурге, Шевыреву и Аксакову — в Москве.

Письмо Гоголя по ошибке датировано 22 декабря. Об ошибке свидетельствует почтовый штемпель: «21 Dez. 1844».

Стр. 297. ***Что я написал глуповатое письмо…*** — Речь идет о письме от 16 мая 1844 г. (см. наст. том, стр. 290).

Стр. 303. ***…большим письмом… об «Одиссее».*** — Речь идет о статье В. А. Жуковского, посвященной переводу «Одиссеи» и напечатанной в форме «Отрывков из письма» («Москвитянин», 1845, № 1, стр. 37–42).

***…относительно дел по книге и ее продаже*** — см. примеч. к стр. 296.

Стр. 308. ***…напрасно они собираются писать ответ на письмо.*** — Имеется в виду письмо Гоголя к Шевыреву от 14 декабря 1844 г. (см. примеч. к стр. 296).

Стр. 313. ***Радонежье*** — Абрамцево, подмосковное имение Аксаковых.

Стр. 314. ***…началась у меня переписка с Александрой Осиповной.*** — Переписка С. Т. Аксакова с А. О. Смирновой опубликована в «Русском архиве», 1896, кн. 1, стр. 142–160.

Стр. 316. ***Он заговорил вновь… никогда не говорить мне.*** — Шевырев усиленно убеждал Гоголя отказаться от его благотворительных замыслов, ссылаясь на то, что нужду в деньгах испытывает сам Гоголь, а также его мать. Все эти доводы решительно отметались Гоголем. В связи с этим он и предлагает ниже Аксакову, если Шевырев не изменит своей позиции, взять все дело в свои руки. Передача дела, впрочем, не состоялась ввиду того, что Шевырев в конце концов согласился выполнить поручение Гоголя.

Стр. 320. ***Московской газеты.*** — Имеются в виду «Московские ведомости», в 89-м номере которых (а не в 88-м, как сообщается в письме) за 1846 г. была напечатана статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», позднее вошедшая в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Статья эта, содержавшая в себе реакционные идеи, вызвала острую критическую оценку со стороны Белинского.

Стр. 321. ***Отесенька… писал письмо к Плетневу…*** — В этом письме, написанном в конце ноября 1846 г., Аксаков предлагал

Плетневу не издавать «Выбранных мест» и обратиться к Гоголю с откровенным коллективным письмом, а если это не поможет — отказаться от выполнения его поручений («Русская старина», 1887, № 1, стр. 249–250). Плетнев отверг предложение Аксакова и выпустил в свет книгу Гоголя, идеи которой вполне разделял.

Стр. 322. ***Мы получили верное и секретное известие из Петербурга***. — Это известие о том, что в Петербурге печатается книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», было получено, как это сейчас установлено, от Е. А. Свербеевой (см. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 686).

***«Предуведомление»***. — В 1846 г. Гоголь задумал осуществить в пользу бедных одновременно два издания (четвертое и пятое) «Ревизора» в Москве и Петербурге. К этим предполагавшимся, но так и не осуществившимся изданиям автор написал специальное «Предуведомление», в котором призывал в христианско-проповедническом тоне к широкой благотворительности.

Стр. 323. ***…были им отданы П. А. Кулишу***. — См. П. А. Кулиш, «Записки о жизни Н. В. Гоголя», СПБ. 1856, т. II, стр. 95.

***…а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием «Ревизора с Развязкой».*** — В 1846 г. Гоголь написал «Развязку» «Ревизора», в которой пытался дать абстрактно-моралистическое истолкование своей гениальной комедии. Под давлением С. Т. Аксакова, Щепкина, отчасти и Шевырева Гоголь отменил свое прежнее распоряжение о напечатании «Ревизора» «в полном виде», то есть вместе с «Развязкою» (см. его письма к Плетневу и Шевыреву от 8 декабря 1846 г., Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 152–153).

Стр. 325. ***Предисловие ваше ко второму изданию «Мертвых душ»*** (М. 1846). — Это предисловие знаменовало собой резкое усиление в Гоголе симптомов духовного кризиса. Оно было сурово осуждено Белинским, заявившим в рецензии, напечатанной в первой книжке «Современника» за 1847 г., что оно «внушает живые опасения за авторскую славу в будущем» («Белинский о Гоголе», стр. 327). Любопытно, что это выступление Белинского о втором издании «Мертвых душ» было высоко оценено С. Т. Аксаковым. 11 января 1847 г. он писал сыну Ивану: «…в первом номере «Современника» я выслушал только две статьи Белинского: о русской литературе (имеется в виду статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года». — *С. М.*) и втором издании «Мертвых душ». С обеими статьями я совершенно согласен, они мне очень нравятся» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 696).

Стр. 326. ***Брамбеусторжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм.*** — Имеется в виду статья

Сенковского, напечатанная в «Библиотеке для чтения», 1847, т. 80, Литературная летопись, стр. 42–50.

***Этой тайны не знают даже наши семейства.*** — См. примеч. к стр. 296.

Стр. 327. ***…каким образом Щепкин… увенчает сам себя каким-то венцом.*** — М. С. Щепкин был выведен в «Развязке» в качестве действующего лица. Как и Аксаков, Щепкин резко протестовал против попытки Гоголя исказить собственное произведение и требовал от него отменить свое распоряжение ставить «Ревизора» вместе с «Развязкой». 22 мая 1847 г. он писал Гоголю: «… прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей… я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их как они есть… Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился» (М. С. Щепкин, Записки. Письма, М. 1952, стр. 202).

Стр. 330. ***…а просто уничтожило на некоторое время.*** — Это письмо И. С. Аксакова от 11 января 1847 г., которое так взволновало С. Т. Аксакова, представляло собой откровенную апологию «Выбранных мест». И. С. Аксаков писал, что в своей книге Гоголь предстает «как идеал художника-христианина» («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. I, М. 1888, стр. 406–408).

***Я никогда не прощу ему выходок на Погодина.*** — В четвертой главе «Выбранных мест», озаглавленной «О том, что такое слово», содержалось несколько гневных и справедливых строк о Погодине: «Приятель наш П<огоди>н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно, или к бесчестью его… он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего, во всем своем неряшестве… Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек… И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы

внушило его слово…» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 230–232). Эти строки взбудоражили всех «московских друзей». Шевырев назвал поступок Гоголя «нехорошим» и ультимативно сообщил, что он отказывается хлопотать о втором издании «Выбранных мест», если не будет в них уничтожено все, компрометирующее Погодина («Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 год», стр. 42, 44). С. Т. Аксаков, ранее не раз возмущавшийся неблаговидным поведением издателя «Москвитянина» в отношении Гоголя на этот раз присоединился к хору голосов, выступивших в защиту Погодина.

***…где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом.*** — «Преображение господне» — знаменитая картина Рафаэля. Аксаков имеет в виду то место из «Завещания» Гоголя, где он высказывает надежду, что люди, «которые имеют достаток, станут вместо портрета» его «покупать самый эстамп «Преображения господня» (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 223).

Стр. 331. ***Шевыревдаже хочет напечатать беспощадный разбор его книги.*** — В действительности же статья Шевырева о «Выбранных местах» носила иной характер. Одобряя в целом книгу Гоголя, он утверждал, что она вышла «из доброго и чистого источника». Шевырев убеждал Гоголя в том, чтобы он не ограничился тем, что высказал свои новые идеи в форме «поучительных писем и размышлений», но постарался бы воплотить их в художественном произведении («Москвитянин», 1848, № 1, Критика, стр. 1–29).

Стр. 333. ***Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева.*** — Письмо Д. Н. Свербеева Гоголю, о котором идет речь, см. в книге: В. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. IV, стр. 519–523. В этом письме содержалась критика «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Стр. 336. ***Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо.*** — Речь идет о письме Екатерины Александровны Свербеевой; оно также напечатано я «Материалах» В. Шенрока, т. IV, стр. 524–525.

Стр. 341. ***…из Франкфурта от 10 шюня.*** — Речь ждет о письме Гоголя, ошибочно помеченном этой датой; в действительности же письмо было написано 10 июля 1847 г.

Стр. 342. ***Первое большое письмо мое (кажется, от 12 января)…*** — Аксаков запамятовал; очевидно, речь идет о его письме от 9 декабря 1846 г. (см. наст. том, стр. 323).

***…письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более.*** — В этом письме, датированном 20 марта 1847 г., Гоголь, по существу, высказывал, хотя и с оговорками, отрицательное отношение к

своим «Выбранным местам из переписки с друзьями» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 263–265).

Стр. 348. ***…если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми…*** — Это предложение Гоголя содействовало созданию многих произведений Аксакова и прежде всего «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».

Стр. 349. ***…положим хоть бы написаньем записок жизни вашей.*** — См. примеч. к стр. 348.

Стр. 351. ***…вы получите драму Константина.*** — Речь идет о драме К. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (М. 1848).

Стр. 353. ***Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее. Завтра же начну писать.*** — Ни статья Аксакова, ни его письмо не сохранились.

***…начну писать другую книжку: «Об охоте с ружьем».*** — Речь идет о «Записках ружейного охотника», появившихся в Москве в 1852 г. Упоминаемые выше «Записки об уженье» были опубликованы в 1847 г.

Стр. 358. Рассказ С. Т. Аксакова извлечен из книги П. А. Кулиша «Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 222–224.

Стр. 359. Воспоминание Аксакова см. в указанной книге Кулиша, т. II, стр. 228–230.

Стр. 362. ***…рассказ об Александре Петровиче*** — учителе Тентетникова.

Стр. 365. ***Продолжаете ли записки?*** — «Записки ружейного охотника».

Стр. 370. Воспоминание Аксакова извлечено из «Записок» Кулиша, т. II, стр. 254.

***Оптинапустынь*** — мужской монастырь в Козельском уезде, Калужской губернии.

Стр. 371. ***Посылаю с Иваном половину моих записок…*** — См. примеч. к стр. 353.

Воспоминание Аксакова извлечено из «Записок» Кулиша, т. II, стр. 255.

Стр. 376. ***…писал к обоим этим Петровичам*** — М. П. Погодину и С. П. Шевыреву.

***…в известной книге…*** — в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

*С. Машинский*

**notes**

# Note1

* Я был тогда титулярным советником; но Гоголь, по фигуре моей, вообразил, что я непременно должен быть статским советником.

# Note2

Незадолго до своей смерти он передал эту роль г-ну Шумскому и сам ставил пиесу. Я тогда уже не ездил в театр, но все зрители восхищались Шумским; сам Гоголь видел его из нашей ложи в продолжение двух действий и остался им доволен.

# Note3

Для уплаты этих денег я написал в Москву к должнику своему Великопольскому, который сейчас выслал мне две тысячи семьсот рублей, то есть весь долг.

# Note4

Он потерян, но слова Гоголевой записки сохранились в письме моем к жене, писанном в тот же день.

# Note5

Но в доказательство, что оно было, прилагаю ответ мой на это первое письмо Гоголя.

# Note6

До востребования.

# Note7

В этот день вечером он хотел было идти к <М. А.> Дмитриеву, у которого очень давно не бывал по пятницам; но он был так расстроен, или, лучше сказать, так проникнут высоким настроением, что не имел силы идти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди. Дмитриев, несмотря на свой замечательный ум, никогда вполне не понимал Гоголя.

# Note8

Сваха лучше всех.

# Note9

Вслед за моими деньгами Гоголь получил тысячу рублей серебром от Прокоповича в счет будущих доходов за продажу сочинений.

# Note10

Щепкин и, кажется, Садовский давали публичные чтения сочинений Гоголя. Разумеется, успех был, но не такой, какого можно было ожидать.

# Note11

Книжными делами заведовали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило.

# Note12

Они привезли мне ваше милое письмецо, которое мне было целебно.